

Вячеслав Шишков
ХРЕНОВИНКА
(Шутейные рассказы и повести)

НЕЧИСТАЯ СИЛА
(Рассказы)

ПИСЬМО В ЖУРНАЛ «БЕГЕМОТ»

Товарищ Бегемот Иваныч, здравствуйте!

Вы просите краткой биографии моей? Благодарю за комплимент. Но вряд ли я смогу это сделать. Во-первых, в данное время я принимаю Мацестинские ванны и возле меня решительно все: люди, лошади, земля, произрастания, даже прекрасные солнечные зори — все, все по химическому свойству целебных источников пропахло сероводородом, отсюда и мысли серо-водянистые, без надлежащего подхода к событиям, прямо-таки нулевые мысли. Во-вторых, проезжая ежедневно на означенную Старую Мацесту, я сего числа увидел в морских волнах дальнего родственника Вашего, товарищ Бегемот, Буйвола Антоныча: он лежал вблизи берега, по-видимому на брюхе, из воды торчала лишь носулька и пара прелестных древнемудрых таких

покорных глаз... Он принимал морскую ванну и еще издали, узнав во мне Вашего сотрудника, поприветствовал меня и просил спешно передать Вам свой поклон, что с удовольствием и исполняю. В-третьих, — «все врут календари» — в том числе и мой. И, ради бога (с маленькой, конечно, буквы), не верьте, товарищ Бегемот, моим прежним биографиям, в особенности той, которая помещена в первом томе собрания моих сочинений в издательстве ЗИФ. Это там по злобе, честное слово, по злобе, по мотивам личной мести, о коих, за отсутствием времени и места, не стоит распространяться.

Дело в том, что перед выпуском в свет автобиографии черт дернул меня поссориться с корректором (Адам Адамыч Некорректный). А поссорились-то по самому пустому поводу, из-за довольно миловидной гражданочки одной. Эта гражданка, имея приличную анкету, была вполне сознательна и очень нравилась нам обоим. Я в интимных разговорах с нею старался, по совершенно понятным причинам, уменьшить свои лета, корректор же, наоборот, сгорал желанием подло опровергнуть меня, громко крича и потрясая вихрастой шевелюрой: «Я докажу ему натуральный год рождения! Он у меня сразу вчетверо состарится, исходя вследствие сего!» Я хотел устроить значительный конфликт, но удержался. А

вскоре, глядь, вышла из печати моя биография, и в ней злодейски мстящая на почве ревности рука прибавила к году моего рождения лишних 10–15 лет! В самом крайнем случае, на что я без особого ущерба для здоровья мог бы согласиться, это — сорок лет.

Многие по невнимательности к русской литературе склонны смешивать меня с другим Вяч. Шишковым, автором «Тайги», «Ватаги», «Пейпус-озера» и еще какой-то ерунды, тот действительно староват чуть-чуть. Тот с приличной бородой, я же почти бритый. Тот человек скромный, ни в каких уголовных скандалах не участвует, тихий, очень симпатичный, я же... Извините... Впрочем, то есть да... Тот Вячеслав Яковлевич Шишков лет двадцать жил в стране под названием Сибирь-земля, слонялся и по тайгам, и по Алтаям, и по рекам разным, даже в Якутске был, всюду имел связь с мелкобуржуазными элементами: служителями религиозного культа (шаманы, камы, ведьмы), бродягами, поселенцами, царскими преступниками довоенного образца, а также с малыми народностями: якутами, тунгусами, теленгитами и прочими. Что касается меня, то я... Впрочем, обо мне, писателе шутейном, разговор краток, да я и не люблю себя хвалить. Тот начал свою литературную жизнь в 1913 году, впервые выступив в эсеровском журнале «Заветы»,

затем в максимогорьковской «Летописи», и в еженедельном массовом «Журнале для всех», я же начал литературную карьеру в 1920 году, написав веселую комедийку «Мужичок». Тот Вяч. Шишков, по отсутствию ясно выраженной классовой идеологии, говорят, в бога верует и вследствие сего, бесспорно, произошел от какой-то твари, вроде обезьяны (*Pithekanthropos erectus*), я же верю лишь в игру ума и произошел по теории Дарвина от «Мухомора», «Дрезины», «Бегемота» и прочих шутейно-насмешливых журналов. Наконец, тот Шишков в Детском Селе целиком и полностью, а этот в общем и целом в городишке Сочи проживает.

В остальном же между Вяч. Шишковым, шутейным, настоящим, и другим Вяч. Шишковым, который так себе, — большое сходство. Так что биографии моей не ждите.

Засим, многоуважаемый товарищ Бегемот Иваныч, до свиданьица.

Вяч. Шишков (настоящий).

Сочи, 1927, октябрь.

Р. С. Товарищ Бегемот! Последите, пожалуйста, за уважаемым товарищем корректором, как бы он, чертов дьяв... То есть, это как его... Как бы он в отношении моего возраста не тово опять... Адью! Мерси!

Вяч. Шишков (который так себе).

«ОПИСЬ МОЕГО ПРОИСШЕСТВИЯ»

Мой собеседник — юный, лет двадцати, рабочий, с простодушным, милым лицом и веселыми глазами. Мы сидели с ним в кронштадтском трактире «Орел» и после митинга на Якорной площади баловались чайком. Беседа сначала шла на политические темы, а потом перебралась в гущу мужицкой жизни. Он говорил оживленно, удачно копировал женские и мужские голоса, жестикулировал. Образная речь его отличалась витиеватостью, сбивалась на книжный лад и пестрела необычными словами, схваченными простоватым ухом на митингах. Наши ближайшие соседи по столу бросили свои разговоры и со вниманием вслушивались, выражая свое одобрение громким смехом.

* * *

Рассказчик положил в стакан кислейшего варенья и, польщенный вниманием, начал:

— Раз вы заявляете полное требование на мужиков, извольте... В таком разе я сделаю описание моего происшествия... то есть как я орудовал в деревне, на родине своей, под Бежецком.

Прибыл я, значит, туда из нашего Кронштату. Страшную давку пришлось выдержать, на крыше

вагона едва уцепился, и все такое, ну, прямо как в песне, знаете:

Скорым поездом по
шпалам
Тихо ехал — ноги
стер.

Ну, сами вполне понимаете, что наша сторона, конечно, глухая, в лесу живем, пню молимся, левой ногой сморкаемся.

Ввиду соображения, что от станции до нашей деревни Грибковой вез меня мужик глухонемой, я остался безо всяких освещений событий. А когда вошел в родительскую избу, тут все подтвердилось, что и как. Я вошел в избу и сказал:

— Здравствуйте, батюшка-матушка, свободные граждане великой Российской республики.

Ну, мать, по слабости женского, конечно, положения, в слезы да на меня:

— И чего вы там, окаянные, наделали? И куда такое нашего царя-батюшку распродавали!.. — да ну в голос выть.

Я, знаешь, улыбнулся этак да к отцу.

— А где Матрена? — это сестра моя, солдатка. Отец на печке лежал, голова тряпкой обмотана, видно, хворь накатила.

— А все, говорит, с царем возьтятся, никак расстаться не хотят. И сестра твоя там.

— То есть в каких смыслах? Царь Николай Второй и последний в заключении значится, в Царском Селе под стражу заключен.

— А это, говорит, они в волостном правлении патрет евоный ублажают. Сегодня, говорит, страшный разбой вышел. Всех мужиков, говорит, бабы раскатали. Меня и то, говорит, чуть за ноги с печи не сдернули. Даже, говорит, попу, отцу Андрону, все стекла выщелкнули камёньем. Во как у нас.

Я выпучил глаза от подобного получения известий. Оказывается, бабы с самого изначала сделали полный отпор нашей всероссийской революции. Не хотим, да и не хотим. Дале-боле, дале-боле, и дошли до сегодняшнего дня. А день был праздничный, воскресный, и поп, по всем признакам, служил обедню. Да-а... Вот так сидим, как с вами, пьем с родителем чай, и родитель все чередом мне обсказывает.

— Баб, — говорит родитель, — собралось в божью церковь очень даже много, с других дальних сел которые прибыли, а праздник пустяковый, по такому плевому празднику вовсе и не надо бы народу в храме быть.

Когда отец Андрон вышел с чашей после херувимской, бабы подняли страшенный крик: «Мы

тебе, кричат, всю бороду раскуделим, ежели батюшку-царя по-старому вспоминать не станешь!» Священник сробел, кой-как благословил богомолоч чашей и вышел проповедь произносить к порядку дня. Ну тут вся бабья часть повернулась, говорит, к нему задним положением да на улицу.

И, откуда ни возьмись, среди них патрет царя. Они сделали гвалт и пошли вдоль села комитет разбивать и тому подобное. По пути шествия красные флаги срывать зачали, стекла бить, одним словом, как в настоящем городе, по всем статьям. Ну, тут на них старики и насели: «Вы что, сучки, надумали?» Бабы им отпор. Старики на них. Бабы их подмяли под себя. Тут еще, говорит, набежали старики на подмогу, и начался рукопашный мордобой. Как ужи, говорит, клубком по снегу катались и патрет бросили, такой рев подняли, аж собаки во всех закоулках взвыли. В окончание всего стариков бабы покорили и всех, говорит, сволокли в чижовку.

Я сейчас же спросил своего родителя:

— В каком месте находится этот элемент?

Он сказал:

— Где-нибудь с патретом.

Я кончил чай, выкушал прием спирту и пошел наводить следствие.

Слышу, из одного дома вылетает пение женских голосов. Я тихим манером к окну и

различаю явственные слова песни: «Умрем за батюшку-царя». Меня это взорвало, я влетел в дом и крикнул:

— Товарищи! Что вы делаете, долговолосые дуры?..

А они нуль внимания, сидят крутом патрета, плачут...

Патрет в цветочках убран, в ленточках, стоит под образами. Какая-то кривоглазая как завизжит истошно, а как все подхватят, аж стекла зазвенели:

Эх, не к морозу
наливалась
Кровью алая заря...
Умрем за
матушку-Рассею,
Умрем за
батюшку-царя!

Я, не долго думая, выхватил револьверт да как цопну патрету в нос... Батюшки мои светы, что тут произошло! Многие с перепугу на карачки пали, страшный вопль пошел, стоны, ругань, кто в дверь, кто из окошек скачет... А какая-то, извините, стерва как хватит чем-то тяжелым мне в башку... Потом обнаруживаю — кринка. Так поверите ли, в мелкие черепки...

— Башка али кринка? — спросил сосед с

ближнего стола.

— Без сомнения, кринка! — строго оборвал его рассказчик. — А голова с тех самых пор гудет и гудет... Особливо к дождю. Вот как ахнула... Ну, я посмотрел на ее личность: рожа незнакомая, а красивая, черт, чернявая, нос с горбинкой... Ну, что ж, думаю... Сделать в нее выстрел? Не стоит: хоть и баба, а не курица, убьешь — все-таки неловко... Плюнул и отправился в сборню... Иду, а сам нет-нет, да в воздух — бах! — ради опасности: а то, думаю, их много, я — один... Пришел на сборню, сейчас каморщика за бока, который каталагу окарауливает.

— А где сельский революционный комитет?

— Весь, говорит, комитет с перепугу в лес выбежал, по случаю гвалта... А которые, говорит, члены — по овинам схоронились.

— Так, прекрасное дело... А где у тебя старики?

— В чижовку приделили всех...

— Сколько?

— Пятнадцать, говорит, хозяев...

— Отпирай...

— А как же бабы-то? Бабы, говорит, из меня лучины нащепают, я, говорит, человек старый. Грыжа меня мучает...

Старик мой охать-охать, однако ключ из-за иконы достал. отпер.

— Товарищи! — закричал я всем заключенным землякам. — Именем всероссийского пролетариата вы свободны! Пожалуйте на митинг... Призовем туда всех баб, и я буду держать речь, чтобы как след разобраться в происходящих событиях, потому вокруг вас густая политическая тьма... Бабы не в сознании своих средств... Они верят в старый режим и чтут провергнутого тирана... Я таких контрреволюций допустить не могу. Долой насилие личности!

Тут подходит ко мне крестный, старик Никита:

— Мишка, говорит, крестничек! Да ить они заклюют нас, бабы-то... Эвона они каки кобылы, одна другой глаже, — а мы что? Все старье да хворые...

— Я, говорю, словами пришибу их, крестный... Что же, говорю, они такое делают? Это измена всех понятий. Везде пущен новый строй, а вы, говорю, с бабьем не можете совладать...

При этих оборотах речи мой крестный вздохнул и прослезился соленой слезой. Я тогда обнаружил у него красные синяки под одним и другим глазом. Жаль мне стало его, ей-богу, право.

— Эх, говорю, папаша крестный!.. Фонари — это тебе награда. Кто за свободу пострадавши, на манер георгиевских крестов.

— Благодарим покорно, говорит, за эти

кресты... От таких, говорит, крестов свету я не взвидел. Вот сколь хороша эта самая награда... Тьфу!

— Эх, крестный, говорю, темный ты человек, — и кратко разъяснил происшествие фактов, что к чему.

Вот ладно. Я направился домой выпить пива, — ужасно хорошее пиво у нас варят. День был очень даже замечательно прекрасный: со всех сторон льются солнечные лучи.

Гляжу, кто это идет, вроде как Асман-паша? Штаны широченные, цыганские, на манер двух бабьих юбок, ситцевые, в огромнейших огурцах, отродясь не видывал такого материалу, а ноги босиком... При всем том солдатская куртка. Ага! нижний чин, солдат... Как только повстречались, сейчас же произвели краткий разговор и пошли пить пиво.

— Тебя, говорю, товарищ, я издали за турку признал.

— Какой, говорит, я турка. Самый русский. Я сознательный питерский солдат...

— Вот говорю, прекрасное дело... А я кронштадтский пролетарий, сапожный цех. Тоже очень сознательный. Ты, товарищ, против наступления, конечно?

— Против всяких, говорит, наступлений. Потому, говорит, это один обман, это, говорит,

буржуям надо, ну и пускай сами наступают, а мне и здесь хорошо...

Я тогда сейчас же сообразил, что он есть забеглый дезертир, но никакого примечания ему не сделал. Вот хорошо. За кружкой пива мы решили произвести благовест в церковный колокол, чтоб созвать сход и открыть митинг. Когда сделан был удар, вдруг к колокольне подходит священник, машет шляпой и кричит нам в грубой форме:

— Это что за новые архиереи объявились? Марш с колокольни!..

Я спустился да к нему:

— Это, говорю, производится в интересах пролетариата. А ежели вы, отец Андрон, не в согласии, то мы с товарищем солдатом не только вас, а всю кислую кутью можем арестовать под видом контрреволюционеров...

Мой поп туда-сюда. А я ну его настраивать:

— Ежели вы хотите знать — мой товарищ солдат, который на колокольне, в полном боевом походном порядке, с оружием в руках... В случае ваших поступков может открыть стрельбу пачками по продольности всего села.

При этих устрашительных словах духовная особа подобрала полы подрясника и скрылась с моих глаз в калитку. Я во все горло захохотал, потому что не допустил бы репрессий, а просто маленько пострадал в видах пива.

Дальнейшая опись моего происшествия с товарищем солдатом, в коротких словах, такая.

На митинг пришла в большинстве случаев одна женская часть, а старичье понюхало колокольню да по домам: испугались. А молодежь — кто на войне, кто ушедши.

Когда мы вошли в помещение училища, я сел на председательское место и открыл митинг, колокольчик же отвязали от дуги для восстановления порядка. Я очень весело стал себя чувствовать, высморкался в красный платок, шелкового образца, и начал таким способом:

— Товарищи гражданки! Мы стоим на рубеже двух событий в мире... Старый режим свергнут прочь, всюду объявлен восставшим пролетариатом социализм с переходом к демократическому строю республики... — ну, одним словом, в этом роде... Забыл теперь...

В это самое время товарищ солдат ткнул меня в бок и зашептал:

— Ты напрасно, говорит, в оборот отпускаешь умственные слова: баба, говорит, здешняя — полная тетеря...

Я принял поправку к сведению и сейчас же перевел речь на общедоступный человеческий язык в женском духе:

— Тиран Николай Романов свергнут всем православным людом. Отречение подписали, не

говоря о солдатах с рабочими, а даже все порядочные митрополиты. А вы, пустопорожние ваши головы, этого акта не хотите признать... Значит, насупротив кого вы прете? Насупротив всего Святейшего Правительствующего Синода. В полном составе.

— Врешь ты все! Врешь! Ботало коровье, — раздался на мои слова женский крик. Кричали не особенно сердито, другие даже улыбались, и все смотрели на мою внешнюю наружность, потому как я был очень чисто одет. А громче всех кричала чернявая, интересная такая солдаточка, которая сделала рикошет кринкой в темя моей головы.

Я схватился за колокольчик и водворил порядок. А дай-ка, думаю я, ущипну их за самое живое место.

— Таперича, говорю, как исправники, так урядники и стражники — все полетели ко всем чертям. А новое правительство очень милостивое до простого люда. Во-первых, будет сильно увеличен паек солдаткам... Во-вторых, будет дано сколько хочешь земли... В-третьих — очень дешево будут ситцы, сукна и прочие припасы...

— Ой ли! А сахар? Мы конфеток хотим...

— Ежели не будете перебивать оратора, получите сахар даже в большой мере...

— А самогонку можно выгонять?

Я означенный вопрос замял и сам спросил их:

— Вы сколько раньше получали поденную плату?

— Девяносто пять копеек... Рупь...

— Три целковых! — крикнул я. — Постановлено не меньше трех. А со временем до пяти рублей.

— Да ты не выпивши ли? — весело завизжали бабы. — Ха-ха!.. Так тебе и дали три целковых... держи карман...

Я встал с места своего сиденья и объявил:

— А вот для этого самого я вечером всех вас организую.

Тут молодые солдатики захихикали, заверезжали:

— Ишь ты ловкий!.. Не всякая-то еще поддастся... Много вас...

Я им в ответ:

— Вы не так понимаете девиз... Как старым, так и молодым женщинам будет допущено одно политическое удовольствие, а не что иное-этакое... Понятно?

А они, знай, хохочут. Я тоже не мог обойтись без улыбки.

— Врешь ты все!.. Шутки шутишь! — кричат.

— Ни в каком разе... Я имею от товарищей мандат...

Тут все солдатики опять прыснули, схватились друг за дружку и пуще заржали, а чернявая сказала

нараспев:

— Вот ты веселый... а зачем же ты стрелял патретену в нос?

Я вторично замял подобное обращение и начал наводить звонком полный порядок... Когда навел, то вынес резолюцию:

— Таким образом, говорю, вы очень наглядно убедились, что без царя в десять разов лучше во всех смыслах. И вот вам очевидные причины, — при этом возгласе я вытащил бумажник, хлопнул им об ладонь и достал две сотенных. — Вот, говорю, при царе у меня не только денег, а и кошелек-то не было, сам голодранцем ходил, рожа черная, чуть не зачах... А теперича полная свобода, живу как господин, обещаю еще лучше жить...

У бабешек глазенки разгорелись, слюнки потекли.

— Давай в карты играть! — кричат. — Угости конфетками!..

— В карты, говорю, не играю, а угощение выставить нам все одно, что раз плюнуть... Отрекаетесь ли от царя?..

— Да уже отречемся!.. Только послаще угости...

— Эй, солдат! — крикнул я товарищу солдату. — Орудуй! Живой рукой... А завтра мы всерьез разовьем всю программу, — и выдал ему субсидию средств.

ВЕСЕЛЫЙ БРОДЯГА

Фомка — дюжий, косоватый мужик. Когда он попадал на работу, где молодые бабы, он бороду подстригал в виде лопатки или брился, оставляя лишь рыжие усы. В таежном же безлюдном месте отпускал красно-рыжую бородищу и был тогда похож на сбившегося с панталыку кержацкого попа. И голос его менялся. Бритый, с девками говорил сладким масляным тенорком, глазом косил мало, стараясь поочередно умеючи прищуриться; с бабами — борода лопаткой — разговаривал покрепче, глазом косил больше, молол напрямки, без обиняков — бабы хохотали... А в тайге, весь бородатый, словно лесовик, говорил толсто, по-медвежьи, и глаза его смотрели друг на друга.

Фомка не дурак выпить, во хмелю любил поколобродить и, когда живал по городам, всегда попадал в часть. Впрочем, худого он не делал, ценил вольную жизнь, шатался из села в село, из города в город, истоптал кривыми ногами всю Сибирь. В артели его побаивались, но любили за веселый нрав, за прибаутки.

* * *

Сидели вокруг костра, поглядывали на Фомку

ожидательно: да когда же он, черт, заговорит? А черт все еще ухмылялся, и подмигивал, и разжигал.

Поворошил костер жердиной, посмотрел за реку, где чернела мрачная тайга, покрутил обеими руками усы...

— Ну, уж ладно: расскажу, как я министеров опровергал. Раз я нажрался пьяный, иду по городу да ору во всю мочь, вроде как скубент: «Не надо мне министеров!» А почему такое? А очень просто. Сейчас. Только дайте, братцы, курнуть.

Курносый парень из артели согнул козью ножку, смачно облизал ее и уважительно поднес бродяге.

— Рассчитался я осенью на корчеподъемке и получил всего шесть рублей, чик-в-чик. Пришел с этим капиталом в Томской, стал работу искать. Искал-искал — нету. Ах, ерш те в бок! Оно, конечно, без работы лестно — лежи на боку, поплеывай, вроде как игумен, ну, это в Томском трудно, потому соблазны: придешь в обжорный ряд, тут тебе печенка, тут селезенка, там рубцы, здесь огурцы, а то глядишь — пельмени тетя продает, четвертак сотня. Сама на корчаге с горячим угольем сидит, зад греет, а под подолом вот такая оказия с водкой приготовлена. Хлопнешь на размер души, грибком закусишь да сотню пельменей-то и оплетишь, вот и барин...

Артель смеялась.

Фомка мрачно на всех посматривал.

— Ну, так вот... — продолжал он. — Живу это я, значит, в Иркутском...

— Стой, в каком Иркутском? В Томском! — закричали все.

— Тоись как в Томском, ежели в Иркутском? В Томском особь статья, а то в Иркутском. Вот уж верно, я там объелся на пасхе у купца. А все из-за стряпки. Красивая бабочка была, малина, а с хитринкой. Вот она и зачала меня потчевать. Сначала студень подала. А я в кучерах жил, за пост-то отощал, у купца строго. Ну, поели. После того — щи. Приналег я и на щи, грешным делом. А она кашу пшенную тащит с маслом. Поел я каши, стал из-за стола вылазить. А она мне: «Постой, пироги подам». Ах ты, батюшки, а мне уж и есть не во что. «Чего ж ты, — кричу, — не упредила?» Ну, съел я две доли пирога — уж очень сдобен был, с осетриной. Поел да за кресты. «Стой, куда ты? А нешто курицы не хочешь?» Я на нее: «Ах ты, песова баба, опять не упредила?!» — «А почему я, говорит, знаю. Ты бы всего, говорит, помаленьку трескал». Я опять за стол, как же это так: курицы не поешь. Ну, вижу — свет из глаз. А все чавкаю, все-таки редко такой обед. Опояску снял, гашник распустил, терплю. Да уж кое-как из-за стола выполз. Только крест занес, а она: «Стой, куда ты? Разве киселя не хочешь?» — «Какой кисель-то,

будь ты проклята совсем?!» — «Из облепихи, сладкий с молочком». — «Дыть не вынесу! Лешая ты этакая, полудурок. А ежели округовею да посуду бить начну?» — «Не хошь — не жри». Подумал я, подумал. «Давай, ведьмина дочь!» Как покрыл я все это киселем, гляжу — уж вздохнуть не могу. Батюшки мои светые, как быть? Господи, не приведи без покаяния. Пал я прямо на карачки и пополз обнаковенно вон. А она, яга, хохочет.

— Ну, как же ты, — не утерпел курносый, — отдышался все-таки?

— Отдышался, брат. Ох, отдышался. А главное, жернов помог.

— Как так жернов?

— О-о, жернов в этих делах первое средство. В сенцах у нас жернов большущий стоял. У хозяина-то мельница была, крупчатку драли. Вот я навалился, значит, брюхом-то на жернов, да и ну взад-вперед возить. В пот меня вдарило. Ничего, вожу. До петухов, почитай, вожгался. Дак — верите ли, — хозяин гостей привел для усмотренья. Хохочут, выпимши. Знамо, народ богатый, им што, им ничего, привычны. Они сызмальства вьелись. Ни один не обожравшись, только пьяные. Один даже красненькую подарил. И что ж, ребята, ведь размолот я на жернове нутро-то. Ну, ударило меня тогда в сон. И снились мне все кобели. Подойдет быдто к моему рылу, ногу

подымет, да и прочь.

Все дружно захохотали. Артель пильщиков была большая, веселая, человек пятнадцать, наполовину молодежь. Лежали на боку возле костра, покуривали; курносый придвинулся вплотную к Фомке и, прерывая хохотом чуть не каждое слово, глядел ему в рот. Сутулый старик кипятил в котле кирпичный чай. Надвигалась ночь, небо вызвездило, из-за тайги всплывал рогатый месяц. От горы нарезанных дров несло пахучим хвойным духом.

Курносый спросил:

— Ну, а как же, Фома Петрович, министеры-то?.

— Какие министеры? — уставился на него удивленно Фома.

— Как какие? Как ты их снивергал-то?

— А-а... ну-ну... на чем я остановился-то?

— На бабе, Фома Петрович, — услужливым тенорком, еле сдерживая смех, подсказал курносый. — Как она, со временем, на горячих угольях сидит.

— Ах, да, — почесал за ухом Фомка. — Вот, значит, она сидит и сидит. День сидит, другой сидит, встанет, постоит да опять сядет. А ведь я, робяты, забыл, про что сказывал-то, — Фомка сгреб в горсть рыжую свою бородищу и уставился косым глазом на старика. — Дайка, дедка, винца чуток.

— На, выпей, — подал старик чашку.

Фомка хлопнул, тряхнул головой, понюхал корку хлеба.

— Ну, дык вот, вспомнил. Получил я, значит, расчет на корчеподъемке и прибыл, значит, в Челябину.

— Как, в Челябину? — смеясь, закричал курносый. — В Томско, ведь!

— Хоть в Челябину, хоть в Томско, мне все едино. Приехал да все деньги-то и профинтил. Поплелся кой-как не знамо куда. И понеси меня нелегкая на гору, по откосу лезть. А гора высоченная, а на самом гребешке — беседка для прогулок. Вскарабкался на самый верх да тут и растянулся у обрыва. Гляжу, рогастый черт ко мне по откосу ползет, цап мою шапку да бежать. Я за ним. Он под гору — я за ним. Да с откоса-то разов пятнадцать, братцы мои, перекувылился, в башке сразу страшное головокружение сделалось, не знай, где и сижу-то.

Курносый парень гыгыкал, скаля белые зубы; артель глядела в огонь.

— Ну, очухался это я, вылез из крапивы и пошел прямо вдоль. Ах, думаю, ведь без шапки-то холодно. Подхожу к казенному дому, залез на выступ, окошко раскрыто, да и лег, обнаковенно, брюхом на подоконник. Гляжу, швейцар стоит. Я ему и говорю: «Дай шапку, пожалуйста». —

«Нету». — «А звона, — говорю, — три шапки с кокардой висят, дай». Тут из-за лестницы какой-то посмелей выходит, подошел: «Проходи-ка со Христом, а то в комнаты упадешь». Да как кулачищем по лбу стрелит, я моментально упал с окна на улицу. Схватил кирпич да кирпичом в окно. А ко мне городской— шасьт. «Ты чего орешь?» — «Я ничего, я смирный, у меня черт шапку скрал». — «Шапку? В часть!» И забрали меня, значит, под шары. Да там по морде, всего расхвостали. Плакал я тогда. А почему же? Шапки жаль, новая.

— Все, что ли? — спросил старик и подал еще водки. — На-ка вот. Да соври потолще что-нибудь.

Фомка выпил, посмотрел на сутулую спину старика, разливавшего чай, и обиженно сказал:

— Пошто соври! Это былъ.

Бродяга хмелел, волосы лезли на глаза.

— А что же дале-то? — нетерпеливо крикнул курносый парень.

— Далe не было, было ближе, — поднял на него Фомка осоловелые глаза. — Сижу это я в чайной в Томском — есть такой трактир «Нарым», хороший трактир, — там вся шпана. А возле меня человек, вроде как на легавых. Он и говорит: «Ты, я знаю, можешь звонко кенарем кричать. Вот в воскресенье народ с красным флагом пойдет. Можешь ежели?» — «Завсегда могу, только укажи,

что кричать». — «Долой самодержавие». Я как гаркну на весь «Нарым», глотку попробовать. «Что ты, черт, заберут ведь!» — «Никого, — говорю, — не боюсь я», — да опять.

Артель насторожилась, смех кончился. Только курносый по-прежнему скалил зубы.

— Ну-ну! Ишь ты.

— Ну, в воскресенье, значит, ходили с флагом. Только я заорал, обнаковенно, изо всех кишок, вдруг на нас городаша на конях: «Расходись, расходись!» Да как начали всех лупцевать. А тут выстрел. Я бежать. А городаш подскакал, хватя мне вострой саблей по башке.

— Ссек?! — изумленно ударил курносый ладонями по бедрам.

— Ссек. Тут я и закаялся самодержавие кричать, — сказал Фомка, хлюпая из деревянной чашки чай. — Ну его к корове на рога, это самое самодержавие, язви его... И говорит тут мне добрый человек: «Иди-ка, грит, ты в русский народ, шайка такая есть, черная, грит, сотня»...

— Ну, я пошел к купцу Перцову, записался. А было дело в девятьсот пятом годе. Выдал мне деньгами десятку, пимы, полушубок, кушак и говорит: «Мы, говорит, должны батюшку-царя защищать». Я говорю: «Вполне согласен». Ну, ладно. Пропил я все до нитки, жду. А тут октябрь пришел, начались жидовские погромы. Ну и лафа

была, можно сказать, рай: чего хочешь, того просишь. А маленько погода всеобщий бунт установили. Стали студентов избивать и всех смутьянов. Говорит, это ничего, говорит, сам архиерей благословил: «Бей в мою голову, и никаких». Говорит, так по святым книгам выходит. Ежели выходит — ладно. Вот мы в двадцатом октябре, значит, запалили театр да еще управление дорог в Томском-городе. А там смутьяны, забастовщики заперлись. Как который высунет башку, солдаты раз из ружей — так и кувырнется. А я, значит, в черной сотне. А народу целая площадь. «Ты иди, — говорит, — к углу, жди». Я подошел с дубинкой. А уж верхний этаж запылал, управление. Гляжу, лезет один дьявол по трубе из дома, как белка, по самому углу, спасается, потому — огонь. Я дубинку приподнял, жду, аж слюна прошибла, вот как жду. Только он на землю, я его кэ-эк хлобысну — и башка пополам, обнаковенно.

У Фомки глаза кровью налились, чашка в руках дрожала. Старик посмотрел на него в упор, качнул головою, сказал:

— А ведь ты, Фомка, сволочь.

Бродяга исподлобья стрельнул на него глазами и не ответил ничего.

Тихо стало. Артель насторожилась.

— А как же ты со временем, Фома Петрович,

министеров-то снивергал? — не отставая, лез курносый и, осклабясь, подполз на корточках к бродяге. — Скажи, сделай милость, как? Ну, скажи скорее, как? Скажи...

Фомка вдруг хрипло засмеялся, точно глотку ему сдавило:

— Как? Да очень просто.

Он плюнул в горсть и со всей силы ударил надоедливого парня по зубам:

— Вот вроде этого.

«КОММУНИЯ»

Село Конево стоит в заповедном лесу. Место глухое, от города дальше, народ в селе лохматый, темный, лесной народ.

Помещика Конева, бравого генерала, владельца этого места, еще до сих пор помнят зажившиеся на свете старики: крут был генерал, царство ему небесное, драл всех как сидоровых коз. Пришла свобода, пала барщина, а мужик долго еще чувствовал над своим хребтом барскую треххвостку и все рабское, что всосалось в кровь, передал по наследству своим сынам и внукам. Даже до последних дней, когда поднялась над Русью настоящая свобода, жители села Конева все чего-то побаивались, все норовили по старинке жить, новому не доверяли — опять, мол, обернется на

старое, — пугались всякого окрика, чуть что — марш в свою нору, и шабаш!

Правда, и среди них были люди кряжистые, хозяева самосильные. Взять хотя бы семейство Туляевых, их пять братанов, один к одному, рыжебородые, кудластые, косая сажень в плечах. А главное — очень широки у всех братанов глотки, и голос — что труба, гаркнут на сходе, так тому и быть, — кривда, правда, обида ли кому — все равно: мир молчит, терпит.

Да и как не терпеть, надо до конца терпеть, про это самое и батюшка, отец Павел, каждое воскресенье говорит: «Кто терпит, тот рай господень унаследует».

Ну, и терпели мужики.

А эти горлопаны, братейники Туляевы, ежели и забрали себе самые лучшие участки, ежели и поделили не по правде сенокос — пускай! — им же, обормотам, худо будет: сдохнут — пожалуйста-ка в кромешный ад, на вольную ваканцию живыми руками горячее уголье таскать.

* * *

Пришла несусветимая война, немчура с французинкой супротив России руку подняли, и всех пятерых братанов Туляевых, один по одному, угнали воевать. Больше полсела тогда угнали, лишь

старичье да самый зеленый молодняк остались при земле, Ну, что ж: воевать так воевать. Вот весточки полетели с фронта: тот убит, тот ранен, у этого глаза лопнули от чертовых душистых каких-то, сказывают, газов. Вой по деревне, плач. Хорошо еще, что отец Павел неусыпно вразумляет: «Убиенных — в рай», но все ж таки тяжело было — в, каждой избе несчастье, бабы из черных платков с белыми каймами не выходят. Только у Туляевых старики и молодухи не печалуются, не вздыхают: видно, краснорожих братанов ни штык, ни пуля не берет.

А на поверку оказалось вот что: братаны и пороху-то не понюхали, а сразу, как на спозицию пришли, единым духом записались в дезертиры, да и лататы: ищи-свищи ветра в поле, до свиданья вам!

Это уже потом все обнаружилось, когда революция пришла. Вернулись после войны односельчане — кто на деревяшке, кто без руки, с пустым рукавом, — да и объявили про братанов:

— Дезертиры. Мазурики... Ужо-ко мы их!..

* * *

А время своим чередом шло. В селе Коневе все честь честью: новые права установили, солдаты разьясняют все по правде, лес поделили, барский дом сожгли. Ах, сад? Яблоньки?.. Руби, ребята,

топором! Ну, словом, все по-настоящему, везде комитеты, митинги, очень хорошо.

И, говорят, в Питере новое правительство сидит: генерал Керенский, князь Львов, еще какие-то правильные господа, все из бар да из князей, очень даже замечательные, и простому народу заступники. Ха-ха!.. А сам государь-император будто бы в Литовский замок угодил. Ха-ха-ха!.. Вот так раз! Отец Павел ни гугу, никакого разъяснения, только и всего, что красный флаг прибил на крышу, а тихомолком все же таки старикам нашептывал:

— Годи, крещеные... все обернется по старинке... А смутьянов так взъерепенят, что...

Шептал он тихо, тайно, но все село вскоре расслышало и забоялось поповских слов: а вдруг да ежели?.. Ое-ей!.. Даже молодяжник присмирел — опять барская треххвостка вспомнилась: а вдруг да ежели...

Но вот святки подходили, и к самому празднику объявились все пятеро братанов Туляевых. Чаев, сахаров наволокли, всяких штук: щикатулки, кувшинчики, ложки — все из серебра, из золота, — часы, перстни с камнем самоцветным. А сами, как быки, один другого глаже.

— Ну, каково повоевали, братцы? — спросили их на сходе мужики.

А молодняжник сразу закричал:

— Дезертиры, мазурики!.. Вон из нашего села!..

И прочие пристали, зашумел сход, — того гляди, зубы братанам выбьют.

— Не желаем!.. Вон!..

Тогда братаны, как медведи, на дыбы:

— Ах, вон?.. Благодарим покорно... Да мы вас!.. Единым духом! Контрреволюцию пускать? А?!

— Как так? Что вы, ошалели?.. У нас комитеты, митинги...

— Комитеты?.. Тьфу, ваши комитеты! В три шеи комитеты!

— Как так? — закипятился молодяжник. — Вы, значит, за царя?

— Кто — мы?! — вскочили Туляевы и рты ощерили. — Да знаете ли, кто мы такие?

— Знаем... Малодеры...

Тут старший братан как тряхнет бородой да топнет:

— Замолчь!! — Так в ушах у всех и зазвенело, смолкли все.

А потом тихим голосом:

— Товарищи, — говорит. — Вот что, товарищи... Мы все пятеро, то есть все единоутробные братья — окончательные большевики... И будем мы в своем родном селе,

скажем к примеру, в Коневе, настоящие порядки наводить, чтобы как в столице, так вопче и у нас... Будет теперича у нас не Конево, а Коммуния. Кто супротив Коммунии, прошу поднять руку! Вот мы посмотрим, кто против Коммунии идет... Мы па-а-смотрим!..

А сам кивнул головой да пальцем возле носу грозно так, ни дать ни взять исправник.

— Значит, все под Коммунию подписываетесь? Согласны?

— Согласны... Чего тут толковать, — сказал за всех старый старичонка Тихон. — Так, что ли, братцы?

— Так, так... Согласны, — забубнил сход. — Только сделайте разъяснение, кака така Коммуния? Впервой слышим.

Тогда братаны разъяснили по всем статьям. Перво-наперво, чтоб не было никаких бедных, а все богатые; вторым делом — все общее, и разные прочие, тому подобные мысли.

Ну, богатеям это шибко не по нраву, стали возражать.

— Тоись, как все общее? — спросил дядя Прохор, мельник-богатея.

— А очень просто, — сказал старший братан. — У тебя сколько лошадей?

— Три.

— Две для бедняков, для неимущих... Таким

же манером и коров, и овец... Иначе к стенке...

— Тоись, как к стенке?

— А очень просто, — сказал старшой Туляев да на прицел винтовку прямо Прохору в лоб.

— Краул!.. Братцы!.. Чего он, мазурик, а?!

Однако все обошлось честь честью, только пострашал.

* * *

И стало через три дня: не село Конеево, а Коммуния.

Братаны Туляевы дело круто повернули.

Раньше впятером под одной крышей жили, а теперича не то:

— Мы, — говорят, — сицилисты-коммунисты.

И, чтоб укрепить полные повсеместные права, стали себе по новой собственной избе рубить.

Возле самой церкви, на площади, очень хорошие места облюбовали, два своих дома ставить начали да два в церковной ограде, а пятый дом к самому поповскому дому впритык приткнули.

Отец Павел сейчас протест:

— Это почему ж такое утеснение? Вам мало земли-то, что ли? Зачем же сюда, на чужую-то?

— Ни чужого, ни своего теперича нет, все общее, — наотмашь возразили ему братаны.

— Ежели собственность уничтожена, зачем же вы себе такие огромные избы рубите?

— Ах ты, кутья кислая! В рассуждение вступать?.. А вот погоди, увидишь, что к чему!

И живой рукой созвали сход.

— Товарищи! Потому что мы коммунисты и вы все коммунисты-террористы, предлагаем: истребовать сюда попа и обложить его контрибуцией.

Пришел отец Павел, ни жив ни мертв.

— Три тыщи контрибуции, а ежели перечить — немедля к стенке — рраз! — пригрозил старшой Туляев и опять артикул винтовкой выкинул.

Поп задрожал-затрясся, побелел. Жаль денег, вот как жаль, по алтыну собирал, по гривне, — однако жизни жальче. Сказал им:

— Ну, что ж, миряне... Конечно, вы можете расстрелять меня без суда, без следствия... Берите, грабьте...

И вынес сполна три тыщи.

— Добро, — сказали братаны. — Это все в Коммунию пойдет.

Поехали с поповскими деньгами в город, накупили себе того, сего. А избы ихние как в сказке растут: старшой братан железом крышу кроет.

Дивятся крещеные, шепчутся.

Таким же манером всех богатеев обложили: кого на пятьсот рублей, кого на тысячу. А тут и до

средних добрались.

— Это все в Коммунию, — говорят братаны.

И у каждого по две пары лошадей образовалось, сани расписные, пролетки, бубенцы.

Крещеным завидно стало, ропот по селу пошел.

— Это чего ж они все себе да все себе... А нам-то?... Вот так Коммуния!

— Дак что же делать-то?

— Надо бедный комитет избрать.

— Да ведь избрали... все комитетчики — братаны.

— Надо новый.

Пошли скопищем к братанам.

— Так и так, братаны. Желаем новый бедный комитет избрать... А вас, стало быть, долой.

Покрутили братаны усы, почесали бороды, а старшой как гаркнет по-военному:

— Ага! Против бедного комитета восставать, против революции? Кто зачинщик? Вавило? Вавило, ты? К стенке!

Вскинули винтовки — рраз! Упал Вавило.

Остальные разбежались, кто в подполье, кто в овин, потому у братанов ружья, а у прочих кулаки одни.

Наутро сход. Братаны объявили:

— Борьба с контрреволюцией будет беспощадна. В случае доноса — доносчика

отправим за Вавилой. Твердая власть — она очень даже строгая. А теперича, товарищи, на общественные работы — марш!

И погнали все село свои новые усадьбы доделывать: тыном обносить, узорчатые ворота ставить.

Крещеные пыхтят на братановых работах, кто тын городит, кто крышу кроет, готовы братанам горло перегрызть, а не смеют: пуля в лоб.

А братаны сполитично:

— Вот, товарищи, кончим дело — спасибо вам большое скажем.

— Очень хорошо... Согласны... — сказали мужики и сглотнули слезы. У Андрона от кровной злости топор упал.

— Все Коммунии да Коммунии, а когда же нам-то? — спросил Андрон. — Мы ведь самая беднота и есть...

Вечером у Андрона братаны в Коммунию последнюю удойную корову отобрали — ведерницу.

Взвыл Андрон.

Да и все село взвыло, даже собаки хвосты поджали, вот какой трепет на всю Коммунию братаны навели. Все на учет забрали: хлеб, крупу, телят, до самых до жмыхов добрались. Мужики с голодухи пухнуть стали, а Туляевы жиреть: двух младших братьев оженили, свадьба с пивом,

спиртом, пирогами, широкой гульбой была.

И если бы не Мишка Сбитень — пропадом пропала б вся Коммуния.

* * *

Был когда-то парень разудалый в селе Коневе, Мишка. Насолил он всем вот до этих мест, озорник был, хуже последнего бродяги. Вздрючили его крестьяне и по приговору выгнали из селения вон.

Десять лет пропадал Мишка Сбитень. А тут как раз ко время и утрафил. К самому Новому году взял да в Коммунию и прикатил.

Чернявый такой, будто цыган, в ухе серьга, через всю грудь цепочка, часы со звоном, папаха, полушубок. А глаза — страшенные, на выкате, а усищи — во! А сам — чисто медведь, идет — землю давит, от кулаков смертью пахнет: грохнет — крышка!

— Вы что как мертвые ходите, словно дохлые мухи? А? Радоваться должны, ликовать: из рабов гражданами стали.

— Эх, Мишка, Мишка... — вздохнули мужики. — У кого радость, а у нас Коммуния.

— Ха-ха-ха! — захохотал Мишка Сбитень. — Отлично сказано... Чего же вздыхать-то?

— Да вот у нас в бедном комитете братаны Туляевы сидят. У них винтовки, а у нас —

ничем-чего.

— Ха-ха-ха! — опять захохотал Мишка.

А крестьяне ему все и обсказали до тонкости.

Долго Мишка хохотал, даже за живот хватался, а потом зубами скрипнул, да с сердцем так:

— Ведите-ка меня на сход.

Вот собралось собрание. Братаны стали речь держать, а сами на Мишку все косятся.

— Ты, товарищ, кто таков? Ты коммунист?

А Мишка в ответ:

— Ха-ха-ха!.. Не признаете? А я вас знаю. Я — волгарь. На Волге-матке десять лет работал, кули таскал, до самого Каспия доходил; вольным духом набирался, на Стенькином кургане чай пил. Мне черт не брат!.. Вот кто я таков... Ну, валяйте дальше...

Братаны так его и не узнали. Старшой шепнул среднему:

— Не иначе — большевик... Может, комиссар какой, с проверкой... Надобно по всей программе.

Да и начал жарить:

— Контрреволюция, контрибуция, буржуи... Да здравствует вся власть Советов!..

— Стой, товарищ! — оборвал его Мишка Сбитень. — Я слышал, вы больше двадцати тысяч контрибуции собрали. Где деньги?

— Деньги? А у тебя, товарищ, мандат есть?

— Есть, — как в бочку, гукнул Мишка. Бросил сигарку, встал, размахнулся да как даст старшему по зубам. — Вот мой мандат!

Все мужики в страхе повскакали, наутек бросились, к дверям.

— Стойте, дурни! Куда вы?! — гаркнул Мишка да к братанам: — Мазурики вы, а не коммунисты. Буржуи вы, хамы! Ежели с кого контрибуцию брать, так это с вас... Ах, винтовки? Я те такую винтовку завинчу... Я те покажу стенку. Ребята, вяжи их, подлецов!!

Мужики валом навалились на братанов:

— Попили нашей кровушки, аспиды!.. Рраз!

— Стой, не смей, — крикнул Мишка. — Ну их к чертям!.. Погодь маленько, дай слово сказать.

— Говори, говори... Желаем...

— Товарищи! — крикнул Мишка и тряхнул серьгой. — Коммуна — святое дело. Коммуна — что твой улей, коммунист — пчела. Всяк честно трудится, зато всяк сладкий кусок ест. От этого самого не жизнь, а мед. А кто ваши Туляевы? Пауки, вот кто. А вы — мухи. В паутину — хлоп, тут вам и карачун. Вы здесь хозяева, а не они. К черту их! Кто не за народ, тот против народа, против правды. К чертям Туляевых!

— Так, так... К лешему под хвост!

— Избы ихние отобрать! Имущество? Имущество конфисковать!.. Начнем, товарищи,

по-новому, по правде-истине... Чтоб всем была свобода, чтоб можно было дышать по всем статьям... А то ежели я тебе глотку зажму да ноздри законопачу, чем дышать будешь?..

— Именно, что... Тогда не вздышишь!..

— Эй, пятеро беднейших, выходи! — скомандовал Мишка. — Берите себе Туляевы избы. А вы, голубчики, к чертям отсюда, марш, катись колбаской! Таких коммунистов нам не надо.

«НА ТРАВКУ»

Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск «на травку».

— Это ты правильно, — сказал ему товарищ. — Краснозвонский уезд завсегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь.

Ехать было очень голодно: на станциях — хоть шаром покати, пустыня.

Но лишь сошел в Краснозвонске с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкаравая хлеба фунта в два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц.

Яков Мохов весь расцвел.

— Господи... Вот так чудеса! — сел на

лавочку да все без запинки и скушал.

— Полный резонт... — сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок: день воскресный, как раз базар.

Зычно бухали колокола к поздней обедне — церковей в городе много; зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух; к базару тянулись подводы; лошади откормленные, гладкие, народ приветливый и сытый.

А вот за мостом, у собора, и базар. Торватый прасол продает целое стадо домашних уток, вот две большущих бочки масла, творогу, возы яиц. Хотя цены высокие, но у возов хвосты — всяк пить-есть хочет.

Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной: чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец.

— И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то. Приступу нет.

— Захочешь есть, так... Поди-ка побывай в Питере-то, нюхни-ка!.. Нужда гонит.

— У вас заработки. А у нас что?

— Заработки... Велики наши заработки.

Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, присматривался, наконец и сам принял участие.

Он подошел к рыжебородому, маленькому,

похожему на колдуна, старичонке:

— А почему картошка?

— Картошка? — переспросил тот, хитроумно взглянув на покупателя, и поскреб под бородой. — Картошка у меня серебрянка называется, не скороспелка. Прямо с гряды. Вот какая картошка-то... Сахар! Триста целковых мера.

— Дорого.

— Дорого? — опять переспросил старик сердито. — Зато в городе. Не хочешь, не бери.

— Как это не бери? Я есть хочу!.. Чего тебе картошка-то стоит... Грош она стоит. Мародер этакий.

— Стой, стой! Ты не лайся... Ну, ладно, взял я, скажем, триста рублей с тебя, — а что я на них могу купить? Ну-ка, скажи! Три фунта соли. Понял?

— Верно, верно!

Кругом загалдели, собиралась толпа.

— Вот рубаху сейчас купил! — крикнул парень. — Пятьсот рублей. А она греет, что ль? Ситец!

— Лошадь — тридцать тысяч! Колесо — две тыщи. Коса, уж на что коса и та шестьсот. Ха!

Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали.

— Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты, — задорно сказал старик колдун и подбоченился. — Во сколько их ценишь? В три тыщи? А я кладу за

них четыре рубля с полтиной, как до революции, а свою картошку — пятиалтынный мера. Это сколько же выходит? Тридцать мер? Так и есть... Вот получай тридцать мер да разувайся, ежели на то пошло! Желаеть?

— Ха-ха-ха! Разувайся, товарищ, разувайся! — подзуживали ротозеи.

— Заплачешь ведь! — возвышая голос, чтоб заглушить поднявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов. — Спятишься, старый хрен... Ведь тридцать мер, ежели по три сотни — девять тысяч выходит, а я три прошу. Взвоешь ведь!

— Кто, я? Ничего не взвою. Разувайся, и никаких!

— Не валяй ваньку-то! До старости лет дожил, а дурак.

— Может статья, и дурак, да не дурашней сына твоего батьки.

— Ха-ха-ха!..

— А где у тебя картошка-то? У тебя и картошки-то полторы меры.

— Поедем. Живо накопаю. У меня две девки!

— Где ему? — подзуживали зеваки. — Он только бахвалится. Поди и сапоги-то не его, а для прогулу взял.

— Известно, не его! — подмигнул старик зевакам. — Ему и во сне-то не снилось таких собственных сапогов носить.

— Ишь, ишь покраснел как!

— Едем, черт ты дери, едем!! — крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.

Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему тридцать мер картошки? Ему масла надо, крупы, яиц, хлеба.

Тьфу!.. Он с досадой посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые, с прищуром, глаза, на клокастую рыжую, с сильной проседью бороду.

Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен пряным густым теплом, солнце склоняется к западу, по пажитям чинно расхаживали грачи, а в выси все еще звенели песни жаворонков.

— Ух, ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков.

— Так-так-так... Само хорошо, — живо откликнулся старик.

— А служу на фабрике в Петербурге.

— Так-так-так... Благодарим покорно... Оно и видать: краски-то никакой в лице нету... А кость широкая. Поди харч плохой?

— Ну да... А после пасхи в больнице месяц вылежал.

— Так-так-так... И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нешто это жизнь?

— А тебе плохо? Наверно, помещичью землю поделили? А?

— Насчет землицы — это правда, — землица отошла к нам от барина добрая. Благодарим покорно... И лесок есть, и сад, а яблоки — во! — в два кулака другой не уложишь, да еще пасека... Все под мужиком теперича!

Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скрипуче засмеялся, его маленький круглый носик совсем потонул между толстых лоснящихся волосатых щек.

— Вспомнил штуку... Хошь — расскажу? Тут в пятом годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромишко, вишь ты, мужики-то устроили, то есть все покострячили — дым коромыслом! А я по-опасался ехать, как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забранилась: «Дурак, грит, ты... Эвот, люди возами добро возят. Грыжа, грит, ты собачья!» Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего: что муку, что небиль, али платье — все расхватали, чисто под метелку. Нет, думаю, надо, что ни то и мне, а то — старуха глотку переест. Гляжу — чан большущий, дубовый, ведер на сорок, на боку лежит. Я его в сани, грузный черт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал: «А на кой леший мне чан?» А сам глазом шарю, нет ли еще чего билизовать: значит, в антирес входить начал. Гляжу, кобель

барский, тощий такой, согнулся в дугу, будто стрючок, шуба-то на нем короткая, а мороз. И стал за ним гоняться, ну вступило в мысли поймать да и поймать. Чисто ошалел тогда. Тоись до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос! — едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком, да в чан-то и посадил, и сам туда залез, а кушак-то вокруг себя, чтобы, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь, домой, как сенаторы. Вот ладно. Вдруг откуда ни возьмись черкесцы — у соседнего барина, слышь, служили они, — за мной. Я как начал нахлестывать кобылу-то, они за мной. Ке-эк в это времечко дорога крутанула, сани вверх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесцы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно: кобелишко-то со страху кушак мог оборвать, да как сиганет, отбежал в отдаленье, да ну гавкать дурноматом. Тут и черкесцы засмеялись, ей-богу право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги, один как порснет мне в морду кулаком, я опять слетел. Только было подымусь, как порснет по уху, я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился. Бросили. Распрощался я тут с ними честь по чести и пошел ни с чем домой, потому кобыленки и след простыл. Иду да кровью отплеываюсь, зуб мне

вышибли, самый клык.

Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь; грустно улыбался и Яков Мохов.

— Вот видишь, — сказал он старику. — Разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить? Никто.

— Как есть никто! — Старик помолчал и сказал раздумчиво: — Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие... А то, вишь, никакого удовольствия: ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тьфу! Эвот селедка, уж на что дерьмо и та в сотню въехала. А бывало на сотню-то две коровы да коня купишь. — Он ударил себя кнутом по голенищу, защурился и закрутил головой. — И деньжищ энтих теперя у всех крещеных — гибель! А впрочем, — что в деньгах? Бумага и бумага... А удовольствия никакого тебе нету. Да-а... Так-так... Ну вот, например, вы, фабричные — коего черта, прости бог, не выработываете ситцы да сукно? Оглашенные вы эдакие, будьте вы неладны! — вдруг переменив тон, крикнул старик.

Лицо его стало строго, но глаза смеялись.

Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал:

— Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюхо все. Есть селедка в аршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что ежели его в

зубы урядник лупцевал, да землишки было — кот наплакал, — это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железа? Ведь все это тю-тю от нас! Поди-ка повоюй, говорят.

— Ране было же.

— Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну что, ежели тебе дадут, к примеру, сто аршин ситцу, двадцать аршин сукна, пуд мыла да пуд сахару и окажут: получай, только помни, все обернется по-старому, снова будешь не хозяином, а холуем последним. Согласишься?

Старик вздыхал, крутил головой, покрякивал, потом сказал:

— Нет! — и нахлобучил шапку.

— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А? — улыбнулся Яков.

Старик захохотал и мрачно сплюнул:

— Благодарим покорно... Ха-ха-ха!.. Вот так заганул загадку. Водка! А?! Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.

Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:

— С преснушечками-то, с соченьками-то. Уж

не взыщите, мы по-деревенски.

И хозяин весело покрикивал:

— Намазывай толще маслом-то, не жалея, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!

С крепкой браги Якова бросило в краску, и в глазах замелькало.

«Этакая благодать, — подумал он, — вот бы пожить-то где», — и поддел на ложку густого пахучего меду.

— Живем, благодарю покорно, ничего... — громко, чавкая и запивая брагой, сказал старик. — Только вот в чем суть: бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться... Вот беда-то...

Яков Мохов поставил на стол блюдо и несмело сказал:

— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.

— Да ну? — вскричал захмелевший старик. — Ах ты, ясён колпак... Яков Иваныч, друг!.. Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, тоись так будем ублажать, ну прямо лопнешь по всем пунхтам. А девки-то, девки-то у меня — малина!.. — Он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг: — А ты женатый?

— И не думал.

— Ну?! Право слово? Девки, слышали?

Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.

Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:

— Раз! — выбросил он новые сапоги. — Первый сорт, со скрипом... Два! — выбросил другую пару. — Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обуви — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. Тоись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как... Тоись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по писаному и обернулось. Чисто камедь... Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он...

Яков Иваныч улыбался.

ЭКЗАМЕН

— Ну, так как? Это ваше последнее слово, Надюша? — выразительно спросил Утконогов.

— Да, самое последнее... Вы сами посудите, Петр Федотыч... Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь.

— Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя

лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос...

— Ах, что вы говорите!.. Разве я могу, будучи, без сомнения, девицей, будить в ночное время спящих мужчин во сне... А вдруг вы скочите и замест экзамена начнете мужские глупости... А вот я вам, Петр Федотыч, прямо отвечаю: ежели вы, без сомнения, провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок.

— Кто такой? — оторопело спросил Утконогов.

— Да уж есть, — кокетливо протянула Надюша; круглые, нажеванные щеки ее налились улыбкой, как яблоко. — Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин... Они не советуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив...

Утконогов шел домой в большом волнении. Да, черт ты ешь, этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин не кто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жеребяткин. И Надюша, видать, не промах: у Жеребяткина хозяйство ай-люли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!

— Ну да ничего... — сказал он вслух. — Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен, Лебеда.

Через два дня Петр Федотыч отправился на экзамен и зашел к невесте.

— Ах, до чего вы интересные собой, — сказала девушка. — Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что... Например, меня на экзамене в комячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живет в сердцах пролетариата. Представьте! Я, без сомнения, не могла знать, и чрез эту неприятность чуть не слегла в обморок.

Петр Федотыч весело расхохотался и сказал:

— Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадмазель.

И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии.

Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел: за письменным столом сидел старший слесарь усач Григорьев и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша, он в страхе зашевелил губами, его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа.

— Заставляете себя ждать, — сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук.

— Извиняюсь, у меня часы отстают, —

убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже... Он экзаменатор. Прощай, Надюша!»

— Прошу занять место... Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим.

Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы.

У Петра Федотыча екнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно кричал.

Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня.

Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и уленгутовской стяжкой.

— Я полагаю, довольно бы... По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания, — сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы.

Утконогов засиял, ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева.

— Что? Как это довольно! — оживился

Жеребяткин. — А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит. — При этом нарядчик Жеребяткин так сильно засопел, продувая ноздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями.

— Отлично. Хорошо, — сказал он, хватаясь за больную щеку. — А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это: живность или груз?

«Ну, на этом-то не собьешь меня», — подумал Утконогов и бойко ответил:

— Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что — должна поднять крик. Например, корова издает вроде мычания, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя, все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто — покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос.

У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись.

— Ну так, — сказал он. — А вот что значит: находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много, и как только начинаю ругаться на татарском языке, значит — стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?

Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил:

— Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает.

— Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется — не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает.

Григорьев опять хихикнул и сказал:

— Это к инструкции не касаемо, к чему же сбивать?

Но Петр Федотыч нашелся:

— Трезвый — значит ничего не надо пить.

— Извиняюсь, — сердито запротестовал экзаменатор. — Такого правила в инструкции не сказано, чтоб из общества трезвости. Ну, ладно. Этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот... — И он задумался. — Вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашеной известью?

— Я должен убедиться, — начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции, — что в этих вагонах нет щелей и дыр и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепе.

— Что, что? Это что за «тепе» такое? — изумился экзаменатор и стал перелистывать

инструкцию.

— Я и сам призадумался, — грустно ответил Петр Федотыч. — Чистосердечно сказать, не понял. Но безусловно — сырость, раз известь негашеная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время революции... И прямо, извиняюсь, с крыш это самое... А в крышах, конечно, щели. Ну, и потеке.

— Тьфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут пропечатано: дождя, снега и т. п., то есть — и тому подобное, а отнюдь не и тепе.

— Я не знал. Тут неясно... — упавшим голосом проговорил Утконогов.

— Ага, неясно! — обрадовался Жеребяткин — Это не ответ. Для кондуктора все должно быть ясно.

Григорьев твердо сказал:

— Протестую. По моим соображениям, какая же может быть сырость, кроме снега с дождем? Ответьте мне сами-то, товарищ Жеребяткин.

— Сырость? — заносчиво проговорил Жеребяткин. — Сырость может быть всякая. Мало ли какая сырость бывает...

— Например?

— Ну, сырость... Мало ли там. Сырость — это... Ой, ой... Батюшки, стрельнуло как! — Он схватился за щеку и, весь перегнувшись, побежал по комнате, широкоплечий, приземистый, с

брюшком.

А слесарь Григорьев резонно говорил:

— Как я осистен, то подписываюсь руками и ногами под ответом товарища Утконогова. Ответ правильный. Кроме как от безобразий, никакой сырости в естественной природе и не обнаружено вредной для извести. Вопрос исчерпан.

— А вот, — раздалось от окна, и Жеребяткин прикултыхал на место. — А вот ответ. Сидишь ты в порожнем отделении и побился, скажем, об заклад с другим кондуктором. Ты говоришь: «На таком-то перегоне поезд обязательно сойдет с рельс». А тот отвечает: «Нет, не сойдет». И действительно, поезд прошел благополучно, и ты проиграл. Хвать, а денег-то и нет, заплатить-то и нечем. Ты бежишь в ночное время, когда все спят, и начинаешь вежливо трясти свою мать и говоришь ей в сонном виде: «Матка, дай-ка скорей деньжат!»

— Никак нет, — возразил Петр Федотыч. — В силу параграфа тридцатого кондуктор не должен без надобности беспокоить пассажиров, особливо ночью.

— Но, во-первых, не без надобности, а во-вторых — это же твоя родная мать?..

— Это меня не касается. Ежели, скажем, мой отец, покойник, придет с того света да начнет в вагоне стекла бить, я и отца на ближайшей остановке вышвырну в вежливой, но твердой

форме. Во-вторых, согласно параграфа пятнадцатого, я не имею права занимать порожние отделения.

— Так, так. Ну что же, все? Хорошенько обдумай мой вопрос.

Утконогов подумал и сказал:

— Да, все.

Нарядчик Жеребяткин вильнул бритой, в ермолке, головой и пристукнул в стол ладонью.

— Ага, все? По-твоему, все? А вот и врешь. Как же ты смеешь, черт тебя бери, биться об заклад, раз у тебя на перегоне не благополучно?.. Извольте радоваться, вместо того, чтобы подать на паровоз тревожный сигнал, он, каналья, бьется преспокойно об заклад и идет как ни в чем не бывало будить родную мать, а тут поезд через три минуты должен кувырнуться!

— Ага, конечно... Я сейчас же...

— Ах, сейчас же?! Нет, брат, поздно! Поздно, черт тебя дери!! Что у тебя там было на путях? Шпалы выворочены, рельс развинчен или бык лежал? Отвечай!!

— Откуда же я могу знать?..

— Ах, вот как! Он, каналья, бьется с каким-то паршивым ослом об заклад и не знает, почему бьется?.. Харррашо-о-о о...

— Я протестую! — крикнул слесарь Григорьев и весь взерошился. Его глаза на

прокоптелом лице сердито белели. — Ерунда какая-то! Он же инструкцию отлично знает, а вы нарочно запутываете. Прошу задавать вопросы по существу понятий, а это уже вроде как тенденция. И, кроме того, остается недоказанным, что он канала. Я протестую. Прошу называть товарищем. И на «вы».

Такое заступничество растрогало Петра Федотыча. Губы затряслись, на глазах показались слезы.

— По-моему, довольно, — авторитетно сказал Григорьев. — Вполне достоин своего звания. Заявляю, как осистен.

— Последний вопрос, самый понятный, незапутанный, — проговорил экзаменатор и весь хищно сжался, как на мышонка кот.

— В вашем вагоне, товарищ Утконогов, едет беременная женщина Понятно? И вот она случайно родила двойни, что вполне допустимо инструкцией. Понятно? — мотнул он головой Григорьеву. — Ну, вот. Что же вы, товарищ, должны сделать? Скорей, скорей...

Петр Федотыч потер лоб, быстро припоминая всю инструкцию.

— Я должен разыскать кондуктор-фельдшера; если такового не имеется, я должен... Больше в инструкции ничего не сказано...

— Надо шевелить мозгами! — почти крикнул

Жеребяткин.

— Я, конечно, буду искать бабушку промежду пассажиров, которая повитуха. В случае неимения налицо таковой, буду умолять всякую попавшую женщину...

— Ну, ну! — торопил Жеребяткин.

— Ежели таковой не повстречалось бы во всем поезде, что невозможно допустить... Я кой-как... конечно, я не спец по части новорожденных младенцев, но...

— Чушь! — оборвал Жеребяткин. — Совсем не то.

— Я на первой же остановке честно, благородно, соблюдая вежливую форму, должен отнести роженицу в приемный покой, а также двух появившихся младенцев.

— Чушь, чушь! — торжествующе сказал Жеребяткин. — Далеко не в этом суть вопроса.

Петр Федотыч в замешательстве переминался с ноги на ногу. Слесарь Григорьев поспешно вышел в другую комнату и поманил пальцем Жеребяткина.

— В чем суть? Я тоже ничего не понимаю... — тихо и конфузливо спросил он.

— Да очень просто, — весело подмигнул Жеребяткин — Ведь младенцев-то два... Понимаете? Ежели б один, ну, тогда он прав... А то два...

Когда Жеребяткин до конца объяснил в чем

дело, Григорьев сквозь сдержанный смех воскликнул:

— Ах, ерш те в гайку! Совершенно верно!..
Хы-хы-хы...

— Надо скорей кончать, — сказал Жеребяткин, ковыряя спичкой зубы. — У меня рукобיתье сегодня... Надюшу-то Дроздову знаете?

— Поздравляю, поздравляю...

И оба вышли фертом к взволнованному Петру Федотычу.

— Ну что ж, знаете?

— Никак нет.

Слесарь Григорьев, совершенно неожиданно для Петра Федотыча, крепко и внушительно сказал:

— Стыдно этого не знать, товарищ! Это даже дураку ясно. Какой же ты после этого, к чертовой матери, кондуктор?

— В чем же суть? — весь уничтоженный, продрожал голосом Петр Федотыч.

— Ты должен, — поднимаясь и рубя ладонью воздух, стал чеканить Жеребяткин, — после установленного факта в рождении, ты сейчас же должен требовать с этой самой мадам дополнительный билет. Один младенец бесплатно. А ежели два образовались в поезде, это уж целый билет дорога заработала. Итак, резюмируя способности мозгов, ты чрез полгода можешь явиться для вторичного экзамена об это место.

Петр Федотыч качнулся, мотнул головой и, сдерживая гнев, угрожающе сказал:

— Ну, в таком разе мы с вами, гражданин Жеребяткин, посчитаемся... Я найду правду. Теперь не прежние времена... Так влетит, что...

И экзаменаторам действительно влетело.

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА

— К черту, — сказал сам себе Петр Иваныч Тарелкин, прикультыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату. — Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга... Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам. Хуже...

Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу.

— Ха, транспорт... Вози им песок из карьера, балласт... — бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза. — А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоев проруби долби, окопы рой... Тьфу! Черт бы их драл.

Петр Иваныч остановился и так свирепо

потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона.

В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.

— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волынку тянуть придется... Это с больным-то сердцем.

Но настроение его вдруг резко изменилось: по испитому длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.

— Гениально! Гениально! — радостно воскликнул Петр Иванович и ударил себя ладонью в лоб.

Отворилась дверь. Петр Иванович поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.

— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то, — чуть гнусавя, сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль, — хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.

— Не пойду, — равнодушно сказал Петр Иванович и густо, но без всякого выражения

сплюнул. — Я — бывший соборный регент, а не батрак. К черту!.. Я им больше не слуга... Арестант я, что ли?

Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.

— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!

— Как это меня могут расстрелять, раз я умру, — загробным голосом проговорил Петр Иваныч.

Жена испуганно задвигала бровями.

— Как, Петрушенька, умрешь?

— А очень просто: вот вытяну ноги и умру...

Вон какие перебои в сердце.

Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустилась на стул.

— Нет, довольно! — вскричал Петр Иваныч басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.

— Вместо того чтоб этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.

Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа-«молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.

— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать! — И лицо ее

перекосилось от ужаса.

«Очень любопытно, черт возьми», — едва сдерживая смех, подумал Петр Иванович.

Но ему стало жаль жену, и он сказал:

— Дурочка... Фелицата Николаевна... Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотрели, — пьесу-то, помнишь? Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.

Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.

На другой день она заявила в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.

Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурков.

— Вам, гражданка, что?

Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.

— Извиняюсь, товарищ, — начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь. — Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.

Юноша засопел, лицо его стало как уксус.

— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно... Садитесь, гражданка... Ваш адрес? Я сейчас пошлю арестовать его.

Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.

Фелицата Николаевна впилась руками в край стола.

— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.

— Холера? — Брови молодого человека взлетели вверх. — Тогда его немедленно надо в заразные бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню. — И рука его потянулась к телефону.

— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь. — Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей. — Он нес дрова, упал и разбил себе голову... Теперь в беспамятстве, сорок два градуса жару.

Лицо юноши стало как горчица, потом — как игривый квас.

— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову? — Губы его кривились в улыбке. — И что вам наконец от меня угодно?

Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.

— Товарищ! — вышла она из оцепенения. — Извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.

Она выходила на цыпочках и косолапо, барышни провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:

— Ненормальная дура.

Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иваныч было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйста, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!

Петр Иваныч на третий день благополучно умер.

Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.

Петр Иваныч целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворешнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.

Эх, как это прелестно, что Петр Иваныч умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!

Как-то попала Петру Иванычу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.

— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу... Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то... Гроб из заготовительного склада; в случае отсутствия такового — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..

А Фелицата Николаевна как на грех уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иванович немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.

«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.

Но когда поднялся в присутствие и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.

Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места

бумаги, что негде клюнуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:

— Бегите скорей вон к тому оконцу. Без двух минут четыре... Может, успеете.

Петр Иваныч совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:

— Ради бога... Вот!..

Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:

— А, Петр Иваныч!.. Здравствуйте, милый человек.

И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно, так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.

Петр Иваныч в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.

Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.

— Однако что же это такое? Вы, должно быть,

хворали, вас нельзя узнать, Петр Иванович! А?

— Вы ошибаетесь... Я совсем не Петр Иванович... Петр Иванович Тарелкин помер... Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.

Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.

Петр Иванович словно окунулся в ледяную воду.

— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка... Ради бога, ордер...

— Ордер? Он регистрируется... Сейчас, сейчас... Кто ж у вас умер, Петр Иванович? Уж не супруга ли?

Голова унырнула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.

— Гм!.. — зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. — Гражданин Тарелкин!..

Но на том месте, где стоял Петр Иванович, была совершеннейшая пустота.

Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его

тряслись. Не переставая, он курил махру.

— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют, — говорил он. — И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в уезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злобные. Боюсь я... И надо ж было так влопаться... Тьфу!

— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать... Ох, хоть бы ноченьку-то переночевать благополучно!

— Я так полагаю, надо обриться мне...

Вдруг раздался стук в дверь.

Оба вздрогнули и открыли рты. Занавески на окнах спущены, горела лампа.

— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал... — зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.

Мигом спустились в подполье; Петр Иваныч залез в мешок и сел в угол.

— Заслони меня чем-нибудь... Вот ящиком... Вот еще мешком с углями...

Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.

— А-а, — протянула она и сразу обозлилась. — Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?

— А уж я думала, тебя зарезал кто, —

пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы. — Фу-у-у!.. А я из бани к тебе... Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как... Очередь с версту... Тьфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевичишки сквозь землю-то провалятся...

Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салопы потное свое лицо.

— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем?.. А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?

— Курю, — сказала вдова, и уши ее покраснели. — После покойника осьмушечка осталась... С горя.

— Фу-фу... Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иваныч!.. Царство ему небесное... Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.

— Извиняюсь, — растерянно и не без раздражения начала вдова. Зубы ее выбивали дробь. — Извиняюсь, Ульяна Сидоровна... Я вас никак не могу угостить чаем... Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна.

— Почему это не можешь? — гостя сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее

засверкали.

— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна... Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку...

— Чудесно, — перебила гостья, — я у тебя ночью. И я с тобой на панихидку пойду.

Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.

— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!

— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты... Как это невозможно? — и стала цедить из чайника в чашку. — Я вот на кушетке и прикорну... Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено... Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.

Гостья, кряхтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.

— Эх, хорошо бы еще луковку.

А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.

— Погиб... погиб...

Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.

— Петруша...

Из дыры на мгновение блеснул колючий глаз, на смену ему подъехал рот.

— Кто? Облава? — прошипел рот и тотчас же уступил место уху.

Раздался чей-то голос и скрип ступеней.

Ухо, глаз, рот упали вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.

— И куда вы лезете?! Куда лезете!.. — раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов. — Не сидится вверху-то вам!..

Все смолкло.

Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.

Петр Иваныч облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли», — и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.

Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иваныч вылез из мешка и, расшарашив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы.

Он взобрался на лесенку и приник глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо

ждать.

— Пей, — говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.

— Не много ли будет, — отвечает та хмельным голосом, — с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то...

— За упокой души... Хоть и не стоит он того... Ну, превечный ему покой, — говорит старуха и пьет.

Петр Иваныч сплюнул и прошипел:

— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!

— А ты не хнычь, — говорит старуха. — Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был...

— Нет, извиняюсь, он хороший, — возражает вдова и пьет.

— Хороший? Первый поножовщик был покойничек... Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут...

Петр Иваныч стиснул зубы и сжал кулак.

«Ну и чертова старушка!» — подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорек и хищен, как у ястреба.

— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!.. Уж раз подох, превечный покой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький:

«Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия».

Петр Иваныч ударился теменем в крышку люка и проскорготал:

«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изувечу».

Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.

«Ах, выжрет все», — с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, оставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.

— Давайте скорей ложиться спать, — сквозь слезы сказала хозяйка.

Петр Иваныч замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.

А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.

Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него

толстобоко протряслась старуха.

И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки...

Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.

— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я — Тарелкин... Самогону, дайте самогону!..

Старуха рывкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.

— Ульяна Сидоровна!.. Ангел... — и сгреб старуху за глотку.

Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.

«Бежать... Скорей...».

Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:

— Держи, держи!..

Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.

Петр Иванович в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.

И первому — раз по голове, другому — раз... Свалили, вяжут.

— Ребята, к стене его!

— Как, без суда?

— Без суда... Он мертвый...

Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.

— Пли!! — залп.

С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иванович, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему мгновенно умер.

ХРЕНОВИНКА

Дядя Филимон вышел с Николаевского вокзала и сразу разинул рот: это кто же такой на коне-то взгромоздился?

— Эй, паренек хороший, — спросил он папиросника. — Кто же это будет? Генерал какой али товарищ?

— Александр Третий. Пугало.

— А-а, так-так... Действительно... — оказал мужик, снял с головы гречневик, поблестел лысиной, перекрестился и опять надел. — А у нас Карло Марков в городе в уездном. И борода такая же. Только пеший, так что по грудь. Тоже, говорят, правильной жизни был. А городок наш маленький, можно сказать бедный, дрянь. А не знаешь ли, паренек хороший, как мне Груньку отыскать, дочку? Фамиль моя Филимон Комар, из деревни Болотище. Край наш дикий, лесной, неудобный

край.

— Надо улицу знать, дядя.

— Она не на улице, она на линии. Иди ты, пишет, тятенька, на линию и все считай. Восемь линий пройдешь, тут я не живу, а на девятой-то в аккурат и тово... В этом доме, пишет, булочная, крендель золотой висит. Тут, говорит, и ищи меня.

Филимон долго путался по городу, наконец разыскал квартиру и с черного хода вошел в кухню. Пусто. Рыжий кот, засунув голову в стеклянную банку, лакал молоко.

— Брысь! — крикнул Филимон, и, постояв немного, пошел по коридору, покашливая.

Отворил одну, другую, третью дверь — никого. В четвертую комнату дверь была открыта. Филимон заглянул туда и замер. В кресле сидела приятненькая барышня, она размахивала рукой, громко кричала в стену и смеялась. Больше в комнате никого не было. Вдруг барышня наморщила брови, дробно затопала ногами в пол и закричала еще громче:

— Кто? Я сумасшедшая? Ха-ха! Может быть. Ах, так? Ну, погодите... Я вам такое сделаю, что... А очень просто. Я сумасшедшая и есть... Что?.. — Она вдруг взвизгнула, захохотала и подпрыгнула в кресле.

У Филимона от страха ослабли поджилки.

— Бешеная! — сразу догадался он и,

подхватив котомку, кривобоко по коридору марш.

А сзади стучали каблучки, и звонкий голос кричал:

— Кто это? Кто тут ходит?!

Филимон обернулся, ахнул, бросил котомку и кинулся по лестнице. Его схватили двое: в очках и без очков.

— Стой! Куда?.. Ты, дьявол, что бежишь?!

А сверху скакала сумасшедшая:

— Держите его, держите!.. Вор!..

— Ой батюшки мои! — взмолился Филимон.

Он пучил глаза и весь трясся. — Бешеная!.. У нас на деревне колдуны... Вот так же... Портят... Ой... Пусти! Не держи! Заест! — Он двинул по очкам одного, по уху другого, ноги у него подсеклись, и он покатился на сиденье по ступенькам вниз.

А навстречу — девушка с корзиной.

— Тятенька, что ты? Тятя!

— Груняша, убегай!.. Бешеная! — хрипел обезумевший Филимон.

Чай пили втроем в кухне. Филимон все еще с опаской, покашивался на барышню и повествовал:

— У нас, в нашем селе, колдун на колдуне. А то и бабы которые. Вот у соседа на полосе залом одна ведьма сделала, колосики этак вниз пучочком завязала... Ну, знамо, хозяйку спортили. По-овечьи блеет, сама с собой разговор имеет, навроде тебя...

— Филимон Иваныч, — засмеялась

барышня, — значит, я, по-вашему, тоже порченная? Ведь я же объясняла вам, что это — телефон.

— Понимаю, — подозрительно сказал мужик.

— Это верно телефон, тятенька, — подтвердила Груня. — Проводится он по всему городу, и можно говорить. Проволока такая.

Филимон бладушно засмеялся и погрозил дочке пальцем.

— Пойдемте, Груняша, поговорим при нем.

Филимона вволокли в комнату силой, как к антихристу.

— Да не бойся, тятя, что ты на сам деле дикий какой... Вот смотри. Видишь, висит штучка, на штучке рогулька, а на рогульке трубка. Вот сейчас вызову... кого бы это?.. Да! Хочешь, Прокофия Киселева, крестника твоего, он в Пассаже служит... Вызвать?

— Куда ж ты его вызовешь? Чего от дела малого отрывать. Поди сколько сюда прошагает... Лучше мы к нему ужо...

— Зачем, — улыбулась барышня, а Груня стала звонить. — Он будет разговаривать со своего места. За версту или за две. Даже с Москвой можно говорить.

— Грунька, брось! — закричал Филимон. — Брось чертовщину! Грех! Как это можно, чтоб за версту... скрозь стены. Глотку перекричишь.

— Кто у телефона? — нежно начала Груня,

оправила кудерышки и с улыбкой поклонилась в стену. — Здравствуйте, Прокофий Павлыч. (Филимон прыснул в горсть). Ну, как поживаете? Ах, какой вы комплиментщик. Кто? Я? Ха-ха-ха! Ну и просмешники вы, ей-богу. (Борода Филимона тряслась от смеха, он подмигивал барышне и кивал на тараторившую Груню.) А знаете, кто с вами сейчас будет говорить? Мой тятенька, а ваш крестный. Да-да-да! Сегодня. Только что. Я передаю трубку. Тятенька, бери.

Но Филимон крутил бородой и похохатывал:

— Ну и озорница! Так я тебе, девка, и поверил. А и ловко ты камедь ломаешь... А?

— На, на, садись, тятенька, — усадила она его в кресло. — Говори в трубку-то. Говори: «Здравствуй, крестник».

— И чего ты, коза, озоруешь надо мной, стариком. Ну, да ладно, потешу тебя Ну... Здравствуй, крестничек!

Вдруг лицо его вытянулось, левая пятка чиркнула по полу, и плечи передернулись.

— Ково? — закричал он дрожащим голосом, вращая глазами. — Прощка, ты? Откедова? Что ты врешь, едят тя мухи! Как ты можешь в трубку залезть, едят тя мухи?! — Он оторвал трубку и, прищурившись, заглянул в нее. Руки его тряслись.

— Не отрывай, тятя. Говори, говори... — сквозь смех приказывала Груня.

— Нет, ты не настоящий! — снова закричал Филимон в трубку. — Это напущено! А ну, скажи: Христос воскрес... Ах, едят ты мухи! Хы... Ну, а как крестну твою зовут?.. Верно, тетка Агафья...

Лицо Филимона сразу прояснилось, на лысине выступила испарина, и клокочущий восторженный хохот уже не давал ему говорить. Он только выкрикивал:

— Толкуй, толкуй! Ах, едят ты мухи!.. Хы-хы-хы... Верно... О-о! Неужто? Ну, и едят ты мухи... А? Чего?.. Хы-хы... Тьфу, ты, едят ты мухи!.. А ну, скажи, чего у меня на левой ноге есть? Верно, желвак. Прощай, прощай, едят ты мухи, Прокофий Павлыч... Ха-ха-ха, едят ты мухи с мошкаррой.

Груня, вся красная от смеха, повесила трубку. Барышня, улыбаясь, затягивалась папироской. Филимон несколько мгновений сидел молча, потрясенный.

— Да, — наконец проговорил он. — Да... Вот так, слеха-воха, музыка!

Лицо его было подавленно и удивленно. Посидев еще с минуту, он глубоко вздохнул, встал, размашисто перекрестился и сказал:

— Благодарим. Приятно. Ну, барышня, едят ты мухи... Уступи ты мне эту хреновнику, в ножки поклонюсь. То есть вот как нужно, до зарезу. Сидел бы я в избе да покрикивал в трубчонку: и в поле

бабам на работе, и в лес, и по волости по всей. А захотел — с Груняхой али с тобой перекинулся словом: здорово, мол, барышня, едят тя мухи... Ах, ах... Сидим мы, как кроты, в дыре и ничевошеньки не знаем.

ПОРТРЕТ

Было дело в голодный год. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уже некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.

И вот пришла мне в голову идея:

— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, — внушаю сам себе, — будешь с богатых мужиков морды малевать.

В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, черт.

— Ладно, — говорит, — рисуй, по очереди всех: меня, Матрену, Акульку, Мишку. Потому — по-благородному желаю жить: чтобы все на стенках висели, форменно, да.

Стали торговаться Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь и — довольно.

— Это грабеж, — говорю ему, — вы,

гражданин, искусство не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.

— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я — Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай струмент и — дальше.

И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне очумело. Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солнцепек и велел волчью шубу с шапкой надеть.

— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.

— Нет, — говорю, — в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола-зимний на иконе и тот в рукавицах.

Он сидит, пот градом с него, а я, конечно, в холодок устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.

— Что же ты, живописец, не малюешь?

— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.

Он бороду огладил, приосанился. Я ему:

— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.

— Ну?! Неужто нельзя?.. А меня клоп кусает.

— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде урода. Замрите, начинаю, — и стал подмалевывать.

А в это время муха ему на нос и уселась. Он

глаза перекошил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.

Я говорю:

— Пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.

Гляжу — он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапищей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.

— Ну вот, — сказал я, — портрет испорчен. Снова.

— Господин живописец, — взмолился он, — нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.

— Нет, нет, — сказал я, — замрите окончательно.

Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил.

— Мишка, подбирай! — и, не стыдясь баб, оголился да ну, как тюлень, нырять, ныряет да гогочет.

Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да думаю: «Я те, анафеме, покажу, как сквалыжничать, ты у меня взвоешь».

— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки? — спросил Огурцов.

— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.

— Да ведь ты пуд просил?

— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свидания. Я художник самый знаменитый. Меня даже в Москве каждая собака знает.

— Патрет мне шибко нравится, — сказал Огурцов. — А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй простоволосым, без шапки.

После обеда хозяин выпил одиннадцать стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел.

— Идем, что ли, черт тебя задави совсем. Только ты не серчай на меня, голубок...

Жара была еще сильнее. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц... Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.

— Вот до чего упарился... Аж в сапогах жмыхает.

— Ничего, — говорю, — терпите.

— Да долго ли терпеть-то?.. Аж пар из-за голенища валит... Аж дышать тяжело... фу-у-у...

Через час у него кровь из носу пошла. Через

два часа он вдруг побелел, простонал:

— Кваску ба... — и упал.

Я только написал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:

— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень...

— Дорого, — говорю, — пять пудов.

Он ощетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:

— Рисуй, сволочь!

Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать.

Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и денег.

На прощанье кулак сказал:

— А ты все-таки — жулик... Ловко нагрел меня.

Я ответил:

— Другой раз не жадничайте... Вы — человек богатый.

Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку порядочно-таки песку подсыпал.

«СУЖЕТ»

Солнце только что село, и грудастые редкие облака были обложены потухавшими углями. Помигивали, покачиваясь на воде, бледные огоньки бакенов. С носу доносилось:

— Шесть с половино-о-й... Семь... Одна вода!

Отбойный маленький свисток с капитанского мостика, и голос смолк. Внизу, на корме, стоял, перегнувшись через барьер, длинный, тощий человек в купеческом картузе и смотрел в убегающую из-под колес воду. Щеки его бледны и впалы; желтенькая козья бороденка и бойкие, с прищуром, глаза. Он любит поговорить, голос его тенористый, женский, но возле никого нет, и он ведет разговор с водой.

— Все-таки пароходишко наш прытко бежит. Завтра и Нижний. Налаживают по тихости. А ведь гляди — наладят. Истинный бог, наладят. В прошлом году совсем мертво было. Даже чаек и тех не встретишь. А теперича гляди, как вьются, ишь, ишь... Отчего же это даже чаек не было? Да как вам сказать? Полагаю — от режиму. Ведь не всякая тварь любит режим. Так же касаемо и птиц. Эвота от режиму в нашем городишке ни одного голубя не осталось. Сначала говорили, как это возможно кушать: дух свят. А как настоящий-то режим пришел, так не то что голубей, галок-то всех

сожрали, не взирая, дух там али не дух.

Он помолчал, вздохнул, снял картуз и перекрестился. Потом оглянулся, поднял голову, и глаза его остеклели.

— Ба-ба-ба! Господи помилуй!! — истерично крикнул он и в страхе сел на сложенный у лебедки аркан. Сверху пристально глядел на него огромный человек с короткой и толстой, как у вола, шеей.

— Евсей Кузьмич, ты? — весь дрожа, спросил тощий.

— Я самый. А это, Михрюков, ты, кажись? — густо рывкнул великан.

— Так и есть... я, я, я... — торопливо выдохнул из себя тощий и приподнялся. — Господи, а я тебя в поминанье вписал — раба божия, новопреставленного борца Евсея из убиенных. Истинный бог. Панихиду служил два раза. Ведь тебя же расстреляли...

— Когда?

— Как — когда? Неужто не помнишь? — вскричал тоненько тощий и, все еще дрожа, перекрестился. — Да в третьем годе.

— Ну? — улыбнулся великан.

— Истинный бог. Твой родной племянник сказывал.

— Врет.

— Ну? — удивился тощий. — Неужто врет? Вот стервец какой, скажи, пожалуйста. Значит,

жив? Ну, слава богу, слава богу. Постой, я залезу к тебе, — засовался он и побежал. — Ах, Евсей Кузьмич, ах, ах... Ну, и Евсей Кузьмич... Жив!..

Великан был в чесучовой рубахе, бритый, гладко остриженный, скуластый, и ручищи возле плеч — как самовары.

— Ну, здравствуй, Михрюков, — пошел он к запыхавшемуся тощему навстречу.

— Стой, — крикнул тот. — Нет, ей-богу, ты?

Великан с хохотом схватил его за длинные сухие ноги, перекинул через плечо, как пустой мешок, и потащил.

* * *

Михрюков уже был под хмельком. Батарея бутылок — портвейн с дурманной начинкой. Великан пьет вино, как кит, закусывает пивом. Кресло потрескивает под ним и гнется.

Кают-компания пуста. Только в уголке трудятся две кожаных куртки. Над ними смеются, что с самой Астрахани все щелкают на счетах, а один диктует.

— Стою это я на корме, — в третий раз говорит Михрюков, — возьми да вспомни тебя к чему-то... Царство, мол, небесное, сколько разов выручал, — глядь — а ты, как живой, и устался на меня. Я так и присел, вроде дурачка сделался...

фууу...

— Ну, а ты, Михрюков, как? Куда?

— Да что, Евсей Кузьмич, я на ярмарку кожу везу.

Вот и ярмарка открылась. Все свой народишко, российский.

— Заграничных-то не любишь, что ли?

— Эко ты! Нешто можно русского буржуя с заграничным уравнивать?.. Ишь ты! Мы, говорит, завладеем вашей республикой, мы, говорит, желаем вашу кровь сосать... На-ка, выкуси. Словом, заграничный буржуй, благодаря, самая паскуда насчет коммерции. А к своему мы уже приобыкли...

— Приобыкли?

— Да как же, Евсей Кузьмич! Именно — приобыкли. Понесешь, бывало, своему-то буржую курицу или гуся продавать, запахнешь в него камушек хороший, погрузней, — ничего, сойдет. Или опять же свинью. Ей не пожалеешь, конечно, соли фунта три да еще селедку икряную астраханку стравишь, а то и две, она солощяя, все сожрет с приятностью. Ну уж и навалится опосля того на воду, это свинья-то. Как бочку разопрет. Тогда надо, конечно, моментально продавать... Приведешь ее к барыне. Той лестно: «Ах-ох, какая прелесть! До чего гладкая». А я: «Что вы, ваша честь, как же! Специально для вашего удобства

ярославским толокном откармливал». Так, благословясь, и обманешь. А попробуй теперича английского или, скажем, французского буржуа обмануть. Черта с два! Самая сволочная нация промежународная... Нет, на карачках надо господу благодарить, что свой буржуй опять завелся в нашем режиме. Хоть худенький, да свой.

Щеки Михрюкова заалели. Он еще раз отфукнулся, перекрестился и выпил.

— Да как же тебя-то, Евсей Кузьмич, бог спас? Как ты из-под расстрела-то убежал?

— Ха, чудак! — гукнул силач и, ударив ладонью в стол, крикнул: — Я, брат, сам чуть не подмял под себя власть на местах!..

— Тише... Тише... Народ.

Вошли трое военных, две хохотуньи-барышни и стриженный попик. Забренчал рояль, посыпались градом веселые разговоры, попик смеялся с барышней и, намотав на палец цепочку, крутил крестом, как красавица лорнетом. Кожаные куртки чертыхнулись, сгребли дело со счетами и сердито — вон.

— А ты что ж, Евсей Кузьмич, ведь ты борцом был?.. А теперича как живешь? — спросил тощий и, прикрыв ладонью рот, зашептал: — Расскажи, как власть-то под себя подмял?.. Люблю, благодаря... Занятно!

— Происшествие со мною такое было, —

великан пободался и почему-то заглянул под стол. — Ну, выпьем. Здорово, стервец, спирту набухал. Молодца! Вот я и толкую... Как только революция сделалась, тут уж не до борьбы. Поголодать пришлось. То есть я съедал — на шестерых хватило бы, а мне мало, я ж барана могу в один присест схамкать. Приехал я на Кавказ. Ну, не стану распространяться, а начну с конца. Дополню тебе, что я был ужасный монархист. Но коль скоро опубликовали этот самый нэп, я открыл кавказский погребок и сразу же одобрил все завоевания революции, потому вижу: заграница признала нас, и возрождение началось, будто в лихорадке. Назвал я погребок — «Свидание друзей». И, как на смех, вслед за таким названием стал страшный мордобой происходить между моих визитеров. Ну, ладно, это мимо. А главный сюжет вот в чем. Вдруг пропечатали в местной прессе и на всех заборах, что пожалуйста, дескать, на Нижегородскую ярмарку. Я тогда принялся соображать и обмозговал дельцо одно, да такое, что надо за разрешением к большому лицу идти. А он человек внове да, говорят, злой-презлой, ежели насчет взятки заикнешься — прямо в зубы бокс! Ах, черт тебя съешь! А у меня такое дело, понимаешь, что без взятки просто немыслимо разрешить: два вагона требовалось мне экстренно под товар. Написал заявление, пошел. В кабинете у

него человек двадцать народу хвостом стоит, и я стал. Ну, гляжу на него, и он на меня глядит, а окошечки маленькие, серо кругом. Потом закричал мне:

— «Эй, гражданин, вы кто такой?»

— «Граев, — говорю».

— «Ага! А меня узнаете?»

Я присмотрелся и обомлел весь. «Ну, все пропало, — думаю, — и кабачок мой закроют: ведь это ж кровный враг мой, Гузинаки, борец известный, грек». Лицо у него медное, и глазищи на лоб лезут. Я говорю:

— «Действительно, узнал теперь. У меня, товарищ Гузинаки, спешное дельце к вам».

Тогда он встает медведем и объявляет, что, мол, граждане, прием закончен. Заругались, загалдели, однако вышли. Он запер дверь на ключ и ко мне.

— «Стерва ты, сукин сын... Ты меня в Харькове публично на обе лопатки положил и реванш не хотел дать... Реванш! Согласен?!»

— «Согласен», — говорю.

Он сбросил в два счета пиджак, жилетку, рубаху, подтянул штаны, разулся, — и я разулся, согнул голову да на меня быком. Сгреблись. А во всю комнату ковер, удобно действовать. Чувствую: его силенка балла на три послабже моей, а я этого не предвидел и нажрался, дурак, пива, страсть как

опучило живот. Ну, ничего, даже лучше, про вагоны помню, надо, думаю, поддаться ему. А он:

— «Чур, в поддавки не играть!»

Черт с тобой. Стал я тогда в роль входить помаленьку, кровь борца во мне заиграла, про все забыл. «Эх, несмотря на пиво, грохну-ка я его, греческого дьявола!» Сюда рывок, туда рывок, обманул, поймал да хлоп! В момент на обе лопатки, как бревно, и сам лбом об пол, аж искры из глаз, и сразу вспомнил: «Два вагона... Миллиарды пропадут!» Чуть приослаб нарочно, глядь: славу богу, уж он на мне верхом сидит. Потом вскочил:

— «Руку, товарищ! Ну, какое дело-то? Говори!..»

Я ему бумагу. Он прочел в голом негляже, и кровь в три ручья текет из носу, а между прочим, положил весьма приличную резолюцию: «Немедленно предоставить, приняв во внимание развитие торговли». Я с радости и сапоги забыл. Вот, брат Михрюков, какой сюжет греческий вышел.

А Михрюкова развезло совсем. Он плакал, вытирал слезы салфеткой и слюняво бормотал:

— Господи, боже мой... Какие хорошие люди. А? Евсей Кузьмич!.. Ангел ты нечеловеческий... А? Кровь текет, а он пишет... Дай бог новому режиму. Пишет и пишет! А? Евсей Кузьмич...

— Да, брат... Пишет. А ты не плачь, пей! Чего

скулишь?..

— Как же мне, Евсей Кузьмич, не плакать, ежели у меня тоже был сюжет! Подарил я для уважения господину исправнику рыбку, ну, правда, чуть с душком, потому — жара, зной! Через часок призвали меня, заорали, затопали:

— «Это, — говорят, — разве щука? Она прокисла вся».

— «Никак нет, — говорю, — ваше высокоблагородие, даже совсем живая была...»

— А они схватили щучину-то в обе руки, вроде как сюжет, да хрясь мне в физиономию личности... А?.. При новых правах из обеих ноздрей кровь рекой валит, и то пишет... А тут щукой паршивой... по человеческой морде, в рыло... А?.. Обида! Обида!!

Михрюков горько завыл и повалился головой на стол.

— Постой, постой... Чего ты хрюкаешь, как баран на цыпочках, — захмелевшим голосом сказал борец; его глаза плаксиво замигали, и медное лицо одрябло вдруг. — Нет, ты погоди новые-то права хвалить. Бывало, до революции, взятку дал, и свято. А тут... а тут пришел я к греку благодарность принести... Хвать — а его уж коленкой под филе... Коммунист на его месте... Вагонов мне не дали, конечно... И вот, Михрюков, голубчик мой, замест выгодной коммерции в цирк еду... Это при моей-то

одышке... А? Не горько?!

Борец всхлипнул, уткнулся в широкие, как лопата, ладони и тоже заплакал.

СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета по-глядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И, недолго думая, образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и

колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается... Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Сам же Павел Мохов к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на солдатских спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами из револьвера. И уж всегда бывало грохнет момент в момент.

Здесь он точно так же ограничил себя этой, на взгляд — малой, но все же ответственной ролью.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично.

Долго ли? Раз плюнуть. На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель, Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшись, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась домой в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастливая невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой... Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не вображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

* * *

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок. Даже поповна умудрилась стянуть в церкви маслица лампадного.

Неутомимый Павел изготавливал огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение Ходынки». И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать».

«Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи. Будет сногсшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтобы пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козы ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: зайкала, — и ее унесли.

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с

милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ:

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша... Мы где ни то с краюшку... На яичек... на маслица.

Передние ряды заняты мальчишками. Павел, с ядреной перебранкой, согнал их и усадил людей почтенных, а принесенное от священника кресло для городского гостя перевернул вверх ножками.

— В антрахту залезем, братцы, не горюй, — утешались мужики, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть!

* * *

Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте, пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попеченье матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась,

высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла:

— Промнешься, соколик, дак пожуешь.

Второй звонок подавать медлили.

В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценою крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что: петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.

— Тьфу! Фефела... — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем стрелка подходила к семи часам. От духоты и нетерпенья зрители взмокли. То здесь, то

там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта:

— Ну, и пригожий... Ах, патретик городской...

Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:

— Здравствуйте, товарищ! — и протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся! — и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздохали, завозились, парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужаси, в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазии. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы женились когда-нибудь гражданским браком? — и полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать. И да, и нет... Случалось, — весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела: — Этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комплиментщик! Ах, как вы пахнете хорошо... Ой, вы мне сомнете кофточку.

Гость и Таня торопливо шли по огороду, вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятками под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

— Товарищи! — появился перед занавесом Павел Мохов. — Внимание, внимание! По не зависимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где... Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю.

А ему вдогонку:

— По новому, так по новому... Начинай скорее, Пашка!.. Другие с утра сидят... Животы подвело.

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай мой творог! Подавай мои яйца назад!

Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, он самолично помчался отыскивать суфлера.

Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.

Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню.

И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат...

— Спектакль! Старый идиот!!.. Спектакль ведь.

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил. — Ах-ах-ах-ах...

— Запарился?

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

— Ах-ах-ах... А я, собачья лапа, в лес по ягоды ходил... Ах-ах-ах-ах...

* * *

Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу — впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом — непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины тучной и очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, впереплет и с вывертом переступал Филат.

— Африканская свиньища на ходулях, — шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Таня фыркнула, а попадья, виляя задом, мелко

засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет! — завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас!

— Мамаша! Мамаша! — выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. — Как вам не стыдно жрать водку?!

Та откашлялась и сказала сиплым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касается поведения своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так? — звонко возразила Аннушка. — Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат... Я — коммунистка. Знайте!

— Что, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку! — загремела басом попадья и забегала по сцене: ворона и кусты тряслись.

Павел Мохов тоже с места на место перебежал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком ревешь? Тоньше, тоньше!..

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова

выскочили из памяти, — и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду, — повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.

Попадья крикнула для прочистки глотки, и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество твое имя!

— Позор, позор! Паршивый черт!.. — змеиное шипенье Павла Мохова секло сцену вдоль и поперек. — Я тебе в морду дам!

— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадья — Филат.

Федотыч в будке грохнул кулаком, презрительно плюнул: — Ахтеры... — и вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены пискливый женский голос:

— О дочь моя!.. Я тебе великодушно прощаю, — фистулой выговаривал Федотыч. — Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благослови, — и яростно зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ножками и горестно восклицая: — Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась... — она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови! — как протодьякон, пробасила попадья.

Павел Мохов метался за кулисами:

— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы... снова!

Но положение спас буржуй-жених. Он роль знал назубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку; из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп! — весело зашумели в зале. — Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, пляс, попадья вприсядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо, ай-люли; хлопают в ладоши — биц-биц-биц

— браво! — Аннушка плачет горше. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый! — бросается ему на шею

Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя. Смерть буржуям!..

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: биц-биц-биц!

* * *

Перерыв длился целый час. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка — целый десяток проглотил, а толку нет.

— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай глотай... Обмякнет, — хрипит Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро,

словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила на свежий воздух публика.

Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»

Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «будьте добры» да «будьте добры». Старому Емеле, до ужаса боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип из соседней деревни постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой: — А ну их к ляду и с комедью-то... — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись на густые сумерки, пошагал, благословись, домой: — Ужо в воскресенье еще приду.

— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По не зависимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет

маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот — делается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях — больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!

* * *

Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.

Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги, длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубил?

— А ну-ка, бабушка, спляши!

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиртованный Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивление ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила ему в самый нос.

Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился

коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — поет басом колыбельную:

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов
признаю...
Ты лежи, лежи, лежи
И ногами не дройи...

— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят...

— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком монолог. Она влипла глазами в будку, там чернохвостый огонек дымит, а Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. Сиротинушка моя!..

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: Чччих! — А огонек погас.

Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дайте-ка скорей огонька... У меня жирову... А-п-чих!.. жировушка погасла.

За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе, мне, горе!.. — безнадежно стонет Аннушка.

— Погоди ты... Го-о-ре!.. — кряхтит, вылезая из будки, Федотыч. — У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла.

Он пополз к краю сцены и забодался:

— А-п-чхи!.. Товарищи... А-п-чхи!.. Тьфу, пятнай ты черти!.. Нет ли серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На, детка. На-на-на!..

И снова как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над младенцем и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы засморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился, вместо Филата, за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами, звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай ему титьку!

И баба:

— Поди упаковался ребенчишко-т...

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:

— Дядя ты мне или последний сукин сын?!

Неужто не мог после-то нажраться! Таковую, дьявол старый, устроил полемику с своей жировушкой...

* * *

По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, очень для Тани оскорбительную.

— Эй, ахтеры! — кричали в зале. — Работайте поскорейча... Которые уж спят давно.

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толчок и встряхивал нечеловечий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядерной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой

загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

* * *

Елки и сосны. Берег реки. Аннушка с ребенком сидит на камне.

— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи... Чу, коровушка мычит. Чу, собачка взлаяла. А как птички-то чудесно расппевают. Чу, соловей...

Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой.

Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крикают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость... — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из

дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями. Которые сутки я голодная иду.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет.

Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткиной поясницы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменщица! — и жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.

Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов выставил в щель дуло своей

фузеи.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепеща, сказала Аннушка.

— Ничего подобного... Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — И жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай, белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать.

— Умри, несчастная!! — свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой всунул новый пистон, но самопал опять дал осечку. Ругаясь и шипя, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки:

— Умри, несчастная!!

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она не умирает-то!

— Ах, прощай белый свет!.. — в третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий

раз дал осечку.

Дыбом у Павла поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: — Тьфу! — и, ругаясь, удалился.

Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять, — наконец, закачалась и упала.

— Занавес! Занавес давай! — суетились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул, подняв на голове будку. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.

Аннушка убежала, и занавес плавно стал задергиваться.

— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культтагитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза обращается в народный дом для разумных

развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: автора, автора, автора!

И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.

Васютин нырнул за сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдете скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз.

А Федотыч, меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! Вот перед вами автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Bravo! Bravo! — захлопал Васютин в ладоши, за ним сцена, за ней — весь зал.

— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Bravo! Молодец, Пашка! Ничего... Жалаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!! —

надрывался Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, крикнув, стиснул зубы.

Павел взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель... — но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч — Я те почту от всех присутствующих.

* * *

На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красotka Таня. В школе же, после «Безвинной смерти Аннушки», не досчитались семи казенных стульев.

* * *

Павел Мохов от превратного удара судьбы долго потягивал горькую совместно со своим двоюродным дядей Федотычем. Пили они в овине, в том самом, за цветущими грядками, за школой.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал, — шамкал пьяненький Федотыч. — А

вот ежели такие театры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

ШЕРЛОК ХОЛМС — ИВАН ПУЗИКОВ

1. Сенцо

День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Недаром деревья так задумчивы, так настороженны.

В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, — пусто, на работе все.

— Тебе кого? — выглянула из окна курчавая, цыганского типа голова.

— Да мне бы Анисима Федотыча, управляющего, — ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-гречневик.

— Я самый и есть, — сказала голова.

— Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик... Потому как понаслышались мы...

— Здесь не продается. Это учреждение казенное.

— Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчерасть продал, сельповскому. Хы, казенное... Вот то и хорошо! Чудак человек!

— Зайди. Шагай сюда.

А в ночь, действительно, собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтоб вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа.

Наутро — хватать, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки.

Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на днях комиссия из городу придет инвентарь ревизовать, да и молотьба недели через три. Что делать?

Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили, — конечно, не нашли.

Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима

Федотыча. Он сучку тут же выдрал.

Совхозный писарь Ванчуков сказал:

— Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый.

— А ну их к черту, этих нынешних... — возразил управляющий. — Каторжник бывший какой-нибудь.

— Напрасно. — Писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика.

В конце концов Анисим Федотыч согласился.

— Поезжай.

Писарь оседлал каурку — да на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была.

— Ладно, разыщу, денька через три ждите, — только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то есть уголовного розыска.

И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным.

Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузиков — парень ого-го. То ли двадцать лег ему, то ли пятьдесят.

Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон, — да-а, народ занятный.

— Ну что ж, товарищи, пойдете-ка. Темнеет.

— Успеем, куда торопиться, — сказал Пузиков. — А вот чайку хорошо бы хлебнуть.

— Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно... — недовольно проговорил совхоз. — А на мой взгляд, надо по горячим следам.

— Ерунда, папаша! — ответил Иван Пузиков. — И не таких дураков лавливали.

Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами.

За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и нейметса, и послушать хочется — очень интересно угроза говорит.

— А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятка меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно, дьявол те возьми. Все мечтал, как бы сыщиком стать: мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков.

— Слышал, слышал, — заулыбался во все цыганское лицо совхоз, и щеки его заблестели. — Я, конечно, вас, товарищи, и винцом бы угостил, да

боюсь — время упустим. Уж после вот. По стакашку.

— Ерунда, папаша, злодей не уйдет. А выпить не грех.

— Слышал, слышал, — пуще заулыбался совхоз, налил всем вина, выпили. — Слышал, как самогонщиков ловите.

— Всяких, папаша, всяких, — вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льяной чуб. — Да толку мало, вот беда.

— Почему?

— Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они. — Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего.

— Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот. — А по-моему, мазуриков щадить нечего. Иначе пропадем.

— Кто их щадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготавливает на продажу. Два завода у него.

— Кто такой?

— Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено.

— Се-е-но! — Управляющий устался в

ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз.

— Да, папаша, сено.

— В тюрьму их, подлецов!

— Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать.

— Пейте, товарищи, винцо... Позвольте вам налить.

— Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ограбил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни.

— Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? — вытарачил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет».

— А как же Ивану Пузикову не знать, папаша?

— Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть?

— Ах, папаша! — Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта. — Ну вот, скажем, к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (совхоз заерзал на стуле и пытался улыбнуться), увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, вы похвалите меня? (Совхоз выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за

куста.

— Да-да-да, — растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чертом Пузиковым ухо востро держать надо».

— Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так... Для храбрости. Дай пойдём. Полночь. Самая пора.

— Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей. А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши.

Управляющий сердито буркнул:

— Нету, — и опять подумал: «Ни черта им, молокососам, не сыскать».

Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала угроза.

Пузиков и Алехин сладко храпели.

— Дрыхнут.

Управляющий сходил на мельницу, распустил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся, — угроза умывалась.

— Чай пить некогда, — сказал Пузиков, — а вот на скорую руку молочка.

Выпили с Алехиным целую кринку, и оба заторопились.

— Кого из рабочих подозреваете, папаша?

— Никого.

— Правильно. А из Рукохватовой?

— Андрея Курочкина. А еще, пожалуй что, Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят.